



Джеймс Оливер Кервуд Бродяги Севера (сборник)

Текст предоставлен правообладателем

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=9066261

*Бродяги Севера / Джеймс Оливер Кервуд; пер. с англ. М. Чехова; вступ. ст. Н. Дорохиной: Клуб
семейного досуга; Белгород; 2014
ISBN 978-966-14-7491-7*

Аннотация

Лучшие приключенческие романы знаменитого американского писателя-натуралиста и путешественника Джеймса Оливера Кервуда посвящены животным и суровой природе Северной Канады и Аляски, которую автор очень любил. Под обложкой этой книги собрано пять удивительных историй о невероятной дружбе, верности и мужестве: «Бродяги Севера», «Казан», «Сын Казана», «Золотая петля», «Долина Молчаливых Призраков».

Содержание

«Природа – моя религия»	5
Бродяги Севера	10
Глава I	10
Глава II	13
Глава III	16
Глава IV	20
Глава V	22
Глава VI	25
Глава VII	28
Глава VIII	33
Глава IX	37
Глава X	43
Глава XI	46
Глава XII	50
Глава XIII	54
Глава XIV	57
Глава XV	61
Глава XVI	63
Глава XVII	66
Глава XVIII	71
Глава XIX	75
Глава XX	78
Глава XXI	81
Глава XXII	86
Глава XXIII	90
Глава XXIV	94
Глава XXV	101
Казан	104
Глава I	104
Глава II	107
Глава III	111
Глава IV	115
Конец ознакомительного фрагмента.	117

Джеймс Оливер Кервуд

Бродяги Севера

Вступительная статья *Н. Дорохиной*

© ООО «РИЦ Литература», составление, вступительная статья, 2014

© Hemiro Ltd, издание на русском языке, 2014

© Книжный Клуб «Клуб Семейного Досуга», 2014

© ООО «Книжный клуб “Клуб семейного досуга”», г. Белгород, 2014

* * *

«Природа – моя религия»

«Моя прабабушка была дочерью индейца из племени могауков... – писал Джеймс Оливер Кервуд в предисловии одной из своих книг. – Индеец был самым любящим сыном, самым преданным другом, самым верным патриотом своей страны».

Все эти качества в полной мере были присущи и замечательному американскому писателю. Когда мы говорим «Кервуд», перед глазами встает дикая природа и ее обитатели – волки, собаки, медведи.

Кервуд родился 12 июня 1878 года в местечке Оуоссо, затерянном в лесах Мичигана. Его отец, являясь потомком знаменитого английского писателя-мариниста Фредерика Марриета (1792–1848), был сапожником, имел свой магазин. Когда Джеймсу не было и пяти лет, бизнес отца потерпел неудачу, семья переехала на ферму в штате Огайо. Там будущему писателю пришлось заниматься «подбиранием камней»; позже он отмечал, что это время помогло ему «в воспитании характера».

Уже в восьмилетнем возрасте он совершил свою первую вылазку с ружьем в окрестные леса, а в девять попытался сочинить свою первую повесть.

Когда Джеймсу исполнилось тринадцать, семья вернулась в Оуоссо. Мальчишка часто сбегал с уроков, чтобы побродить по лесным дебрям. За это его исключили из школы. Но он не унывал, посвятив себя целиком путешествиям по лесам на берегах Великих Озер. Джеймс пережил немало увлекательных и опасных приключений, добывая пропитание охотой на диких зверей и ночуя под открытым небом.

К двадцати годам впечатления стали переполнять его; появилась потребность изложить их на бумаге. В 1898 году Кервуд поступил в Мичиганский университет и, окончив его, начал работать редактором газеты «Ньюс трибюн» в Детройте.

Однако первый роман Джеймса Оливера Кервуда «Мужество капитана Плюма» вышел в 1908 году, когда автору было уже тридцать. За годы, отпущенные ему судьбой для творческой деятельности, он написал порядка тридцати повестей и романов. Среди них анималистические («Казан», «Гризли», «Молниеносный», «Бродяги Севера» и другие), приключенческие («Скованные льдом сердца», «Лес в огне», «Старая дорога», «Золотая петля»), исторические («Черный охотник», «На Равнинах Авраама»).

О чем бы ни писал Кервуд, каждая его книга создавалась под непосредственным впечатлением того, что он увидел, услышал, пережил сам. «Я прошел три тысячи миль вверх и вниз по могучему Саскачевану, прежде чем написать «У истоков реки», и если бы не спустился с дикими лесными бригадами вниз по Атабаске, невольничьей реке, и Маккензи, то не написал бы «Долину Молчаливых Призраков», – вспоминал Кервуд. Он почти непрерывно путешествовал – на лыжах, в каноэ, на собачьих упряжках. Он забирался в самые дикие, нехоженые места. Именно поэтому можно назвать его романы не плодом фантазии, как это нередко бывает у авторов приключенческих книг, а литературой факта, своего рода очерками о жизни девственных лесных дебрей Америки.

«Ему было тридцать пять лет. Половину своей жизни он проводил в диких местах, а все остальное время писал об увиденном» – так Кервуд сказал об одном из своих героев, но эти же слова он мог с полным правом отнести к самому себе.

Некоторые произведения – «Золотая петля», «Серая волчица» – были написаны им в заброшенной хижине в сотнях миль от цивилизации, другие – в перерывах между странствиями, в комнатухе в доме отца в Оуоссо.

Наибольший успех имели его книги о животных, о «братьях наших меньших». «В жизни диких зверей, как и в человеческой жизни, есть свой трагизм, свой особый юмор, свой пафос, – писал он. – Есть множество необыкновенно интересных фактов, действительных

событий и действительных персонажей, написать о которых просто необходимо, и вряд ли кому-нибудь нужно, чтобы при этом что-то выдумывали».

Подобные персонажи в «Казане» (1914) – пес с примесью волка и Серая Волчица, в «Бродягах Севера» (1919) – щенок и медвежонок. Их дружба – вроде бы вопреки природе. Но сведенные вместе обстоятельствами, они вырабатывают новые формы поведения. Они становятся необходимыми друг другу, потому что иначе могут погибнуть, а инстинкт самосохранения у животных – один из основных. Поэтому они так бережно, так верно дружат. Урок и для нас, людей: не вражда, а дружба помогает жить.

«В «Казане», – пишет автор в предисловии, – я пытался изобразить ту пору моей жизни на Севере, когда мне довелось близко узнать собак». Возможно, помня о своем «смешанном» происхождении, писатель в этой книге дает почувствовать мучительную раздвоенность своего четвероногого героя – полусобаки-полуволка. Волчьи инстинкты подавляются, когда Казан живет у добрых и заботливых людей, но если его доверие к человеку обмануто – в животном просыпаются ярость и ненависть. А как трогательны отношения благородного Казана и Серой Волчицы! И чего стоит совершенно логичный отказ от драки собак, не желающих потакать людям, жаждущим жестокого зрелища...

Бари, сын Казана и Серой Волчицы, стал героем другого романа, написанного Кервудом три года спустя. Что ждет беспомощного волчонка, который покинул уютное родительское логово? Когти полярной совы или тяжелые копыта огромного лося? Но если в его жилах есть собачья кровь, он будет хитер, упорен и изворотлив. А волчья натура даст ему ярость бойца и неисчерпаемую выносливость. Таков он, главный герой книги «Сын Казана». Однако главным предназначением Бари становится преданность и служба хозяину, которого он выбрал себе сам.

«Бродяги Севера» – история о том, как медвежонок Нива и щенок Мики скитались по дикому лесу. Они покинули человека, своего хозяина, по воле случая: подравшись, малыши выпали из челнока в бурную реку. Связанные одной веревкой, они смогли спастись, а выбравшись на берег, вдвоем отправились куда глаза глядят... Книга полна описаний природы, повадок животных. Причем звери не очеловечиваются, их действия кажутся предельно естественными, что никак не мешает читателю всерьез переживать за них.

В «Молниеносном» («Быстрой Молнии») (1926) перед нами предстает полярный волк, в числе предков которого двадцать поколений назад был огромный дог Скаген. Сейчас мы бы сказали: у Молниеносного проявились собачьи гены. Кервуд называл это проявление атавизмом. Толика собачьей крови помогает Молниеносному стать вожаком стаи волков. Благодаря ей же он выбирает себе в подруги шотландскую овчарку по кличке Светлячок, у которой умер хозяин и которая сбежала с корабля, затертого льдами. Но живется ему нелегко. «Волчий инстинкт заставлял Молниеносного опасаться и избегать людей, дух Скагена наполнял его тоской и стремлением к дружбе с ними... – пишет Кервуд. – Как среди людей бывают «рожденные не вовремя» или «прирожденные неудачники», так и Молниеносный не был предназначен для того мира, частью которого он являлся». На долю Молниеносного и его подруги выпадает немало тяжелых испытаний...

Анималистические произведения занимают главное место в творчестве Кервуда. Писатель рассказывает об удивительном мире зверей, неведомом многим из нас. А еще – о довольно сложных отношениях человека и животных. Последние не знают условностей «нашего» мира, они моментально реагируют на фальшь и доверяют лишь тем людям, чьи души открыты им, в чьих сердцах – доброта и понимание.

Прежде чем написать «Бродяг Севера», Кервуд три года прожил в окружении своих лесных друзей, изучая их жизнь, их поведение, их психику. Кстати, психика животных с древности вызывала интерес у философов и натуралистов, но ее систематическое изучение

началось в конце XIX века с появлением зоопсихологии. Так что Кервуд творил вполне в русле современной ему науки.

В создании книг о животных писатель видел особое предназначение: на свои былые охотничьи «подвиги» он смотрел уже как на преступления и своими произведениями желал хотя бы отчасти искупить нанесенный природе ущерб. Вероятно, это идет тоже от предков-индейцев, которые, убив животное, высказывали ему уважение и просили у него прощения.

Но так или иначе, Кервуд выступает в своих книгах прежде всего с «исповедью человека, который много лет охотился и бил зверя, прежде чем ему открылось, что дебри могут предоставить более захватывающее развлечение, чем убийство». И выражал надежду, что написанное им, «возможно, заставит и других почувствовать и понять, что больше всего охота захватывает не тогда, когда бьешь зверя, а когда оставляешь ему жизнь».

В «Казане» молодой зоолог Поль Уэймен, собирающий материал для своего исследования «Разум диких животных», не расстается с фотоаппаратом, а его единственное оружие – перочинный нож.

Охотник Чэллонер из романа «Бродяги Севера» убивает зверей ради продажи их шкур. Он делает это скорее по необходимости, чем из-за азарта. И медведицу он выслеживает для того, чтобы пополнить запас мяса и жира, без которых не выжить в суровых условиях. Но... жалобный, трогательный крик осиротевшего медвежонка вызывает у охотника «такое ощущение, словно он совершил преступление». Забрав малыша с собой, Чэллонер пытается объяснить ему, что жалеет о случившемся...

Во времена Кервуда уже существовало понятие «экология», хотя и не в том значении, в котором используем его мы в XXI веке. В 1866 году немецкий естествоиспытатель Э. Геккель обозначил им науку о местообитании. Сейчас это слово имеет гораздо более глубокий смысл: экология – это наука о взаимодействии живых организмов и их сообществ между собой и с окружающей средой. Испытания различных видов оружия, техногенные аварии – Чернобыль, Фукусима, разлив нефти в Мексиканском заливе – никого не оставляют равнодушными. Охрана природы – и в широком, и в узком смысле слова – становится делом всего человечества. Все чаще говорится о том, что в защите нуждаются не только редкие, но и вообще все виды животных.

Об огромных медведях гризли и северных оленях (карибу, как их называют в Америке) Кервуд в начале XX века писал как о самых распространенных зверях. Действительно, гризли когда-то обитали от северных окраин Американского континента до Техаса, а теперь в дикой природе встречаются лишь на Аляске и на западе Канады; есть они и в национальных парках США. Популяция этих медведей сильно сократилась к 1920-м годам – их истребляли фермеры, чтобы защитить от них домашний скот. В 1970-х годах гризли были под угрозой исчезновения. Но в результате принятых мер по их охране сейчас они местами настолько размножились, что на них разрешена сезонная охота.

А вот подвид северного оленя – лесному карибу повезло меньше. Эти животные населяли таежные районы Северной Америки от Аляски до Ньюфаундленда и Лабрадора. Теперь их ареал значительно сократился, лесные карибу могут исчезнуть.

Произведения Кервуда естественно включаются в современные дискуссии о нравственных аспектах охоты, которые направлены на изменение общественного сознания.

В «Золотой петле», написанной Кервудом в 1921 году, животные занимают не последнее место в числе персонажей, но главными героями здесь все же являются люди. Правда, одного из них – Брэма Джонсона – многие окружающие считают оборотнем, человеком-волком. Среди его предков – англичане, индейцы, эскимосы, и потому его внешность необычна: скуластое лицо, приплюснутый нос – и белая кожа, светлые волосы, большие глаза. Друзей и семью Брэму Джонсону заменили двадцать прирученных волков; они помогают ему

охотиться, защищают от врагов; на волчьей упряжке он разъезжает по бескрайним северным просторам. За совершенные преступления Брэма разыскивает полиция. На одной из его стоянок обнаруживается силок для ловли кроликов, сплетенный из прекрасных золотистых женских волос. Кто эта женщина? Жена Брэма, его пленница? Полицейский Филипп Брант бросается в погоню за человеком-волком...

Действие всех произведений Кервуда разворачивается на севере Американского континента. Его герои – охотники, золотоискатели, полицейские, преступники – живут в суровых условиях, вполне понятных русскому читателю. В жесткой борьбе этим людям приходится отстаивать свое право на любовь, счастье, доброе имя, а порой – и на жизнь. Их мужественные характеры – под стать суровой дикой природе...

Часть литературоведов считает Кервуда американским писателем, другая часть – канадским. Ситуация – почти как у нас с Гоголем! В отношении Кервуда это становится объяснимым, когда знакомишься с его историческими романами, стоящими несколько особняком в его творчестве, – «Черный охотник» и «На Равнинах Авраама». Их действие происходит в середине XVIII века, в период формирования и становления канадцев как нации.

К 1922 году благодаря значительным тиражам и популярности своих книг писатель стал довольно состоятельным человеком. Он воплотил свою детскую мечту, возведя в Оуоссо Замок Кервудов – во французском стиле XVIII века. Он приобрел также участок земли в одной из деревень возле Гудзонских гор и еще один – в мичиганской глуши.

Со временем Кервуд не только на страницах своих произведений, но и в жизни стал активным защитником природы – в частности, боролся за сокращение сезона охоты, а с 1926 года участвовал в работе Мичиганской комиссии по защите окружающей среды.

Кервуд был женат дважды.

В первом браке с Корой Леон Джонсон у него родились две дочери – Шарлотта и Виола, но супруга не выдержала сложностей семейной жизни, частых путешествий Джеймса Оливера, и брак распался. Виола после развода осталась с бывшей женой. На одном из своих произведений Кервуд написал посвящение: «Шарлотте, которая со мной, и Виоле, которая будет со мной, с любовью я посвящаю эту книгу».

В 1929 году Виола, будучи летчицей, вышла замуж за авиатора, жила в Голливуде. Умерла она от продолжительной болезни в 1940 году.

Вторая жена писателя – Этель Гринвуд – родила сына, Джеймса Кервуда-младшего, который в мае 1930 года погиб в авиакатастрофе над аэродромом Оуоссо. В местной печати сообщалось, что 19-летний Кервуд-младший скончался после того, как управляемый им биплан врезался в дерево при заходе на посадку. Двое его пассажиров получили тяжелые ранения, но выжили. Причиной аварии стал алкоголь...

Этель была преданной супругой и даже прожила вместе с Кервудом целых девять месяцев в глуши канадского леса, в одной из выстроенных мужем бревенчатых хижин. Она активно помогала ему в творческой деятельности и даже написала значительную часть незаконченного Джеймсом романа «Зеленый лес».

Смерть настигла Кервуда во время работы над этим произведением. На рыбалке во время поездки во Флориду он был укушен ядовитым пауком. У писателя началась сильная аллергическая реакция. Здоровье его так и не восстановилось. Он умер от заражения крови 13 августа 1927 года в своем Замке, в родном Оуоссо.

Кервуда похоронили в Оук Хилл (Дубовые Холмы), штат Мичиган; сейчас там находится музей замечательного писателя. Его именем названа гора в Мичигане. Ежегодно в первый выходной июня в Оуоссо организуется фестиваль Кервуда, основанный его потомками.

При жизни Джеймс Оливер Кервуд так определил свое литературное кредо: «Природа – моя религия. И цель всей моей жизни, мое самое заветное желание – дать читателям услышать биение ее сердца. Я люблю природу и верю, что они тоже полюбят ее, если мне удастся

познакомить их с моими книгами». Мечта писателя сбылась: его произведения оставили неизгладимый след в душах миллионов людей.

Наталья Дорохина

Бродяги Севера

Глава I

Уже март был на исходе, когда черный медвежонок Нива в первый раз увидел свет. Его мать Нузак была уже старой медведицей и, как большинство пожилых существ, страдала ревматизмом и любила долго поспать. Поэтому, вместо того чтобы провести эту зиму, в которую у нее родился Нива, в самой обычной спячке в течение всего только трех месяцев, она провела в ней целых четыре, и Нива, который получил от нее жизнь именно во время этой глубокой спячки, выполз из берлоги почти двухмесячным медвежонком вместо того, чтобы быть всего только шестинедельным.

Чтобы выбрать себе для спячки берлогу, Нузак взобралась в пещеру на самой вершине голого горного кряжа, – и отсюда-то Нива и увидел в первый раз под собой долину. В первую минуту, выйдя из темноты на яркий солнечный свет, он даже ослеп. Он слышал, обонял и чувствовал около себя много кой-чего интересного, но видеть не мог. А Нузак, точно в удивлении от того, что вместо холода и снега ее окружили вдруг свет и теплота, несколько минут стояла неподвижно и только нюхала воздух и оглядывала свои владения.

В какие-нибудь две недели ранняя весна уже развернула в переменах свои чудеса в этой удивительной северной стране между реками Джексон и Шаматтава и с севера на юг между озерами Год и Черчилл.

Перед медведями открылась очаровательная картина. С высокого остроконечного утеса, на котором они стояли, все казалось точно залитым целым морем солнечного света, и только там и сям виднелись небольшие полянки белевшего снега в тех глубоких местах, куда его надуло ветром за зиму. Горный кряж подымался прямо с долины. Со всех сторон, насколько мог видеть человеческий глаз, виднелись темно-синие пятна лесов, сверкали еще не совсем растаявшие озера, отражали от себя солнечный свет ручейки и речки, и зеленые открытые пространства посылали от себя весенние ароматы. Эти запахи, точно что-то возрождающее, втекали старой медведице прямо в ноздри. Там, глубоко внизу, на земле, уже пробуждалась жизнь. Надулись почки у тополей и уж готовы были лопаться; трава выбрасывала нежные, душистые былинки; по стволам стал подниматься сок; подснежники и голубые перелески уже выглянули на солнечный свет и стали приглашать к себе на праздник Нузак и Ниву. И все это Нузак обоняла с опытностью и знанием уже минувших двадцати лет своей жизни – и сладостный аромат еловой и сосновой хвои, и сырой нежный запах от корешков водяных лилий и от лопавшихся пузырей на поверхности оттаивающего болота и у самой подошвы кряжа; и над всеми этими запахами – запах самой земли, претворяющей все индивидуальные ароматы в один общий, великий поток жизни!

И Нива тоже обонял их. Его маленькое тело, все застывшее от удивления, в первое время дрожало, как лист, от зашевелившейся в нем жизни. Какие-нибудь минуты тому назад, выйдя из темноты, он вдруг увидел себя в такой сказочной стране, какая ему даже и не снилась. И в эти самые минуты над ним вдруг заработала природа. Сознания еще не было, но инстинкт уже зашевелился в нем. Он знал, что все это было его, что солнце и тепло было именно для него и что все, что было на земле прекрасного, было дано в удел ему. Он поводил по воздуху своим черным носиком, вдохнул в себя воздух и вдруг осознал остроту всего, что было прекрасно и чего следовало ему желать. И в то же время он прислушивался. Он насторожил вперед свои остроконечные ушки, и в них стал втекать шорох пробуждавшейся земли. Даже стебельки травы несли в них свою песню радости, потому что все в этой залитой солнцем долине гудело зеленым весенним шумом мирного края, еще не тронутого людьми.

Повсюду звонко шумели ручьи бежавшей воды, и Нива слышал странные звуки, в которых сразу же почуял жизнь: щебетанье каменного воробья, серебристые ноты песенки черного грудого дрозда внизу на болоте, звонкий, торжествующий гимн ярко изукрашенной канадской сойки, разыскивавшей себе поудобнее местечко для гнездовья в бархатной бальзамической траве. А затем вверху над его головой вдруг раздался жалобный крик, заставивший его вздрогнуть. Тот же инстинкт подсказал ему, что этот крик сулит ему опасность. Нузак оглянулась и увидела тень от большого орла, который пролетал между землей и солнцем. Нива тоже увидал эту тень и в страхе прижался к матери.

И сама Нузак, такая старуха, что не досчитывалась уже и половины своих зубов, и такая уже одряхлевшая, что в холодные, ветреные ночи у нее болели все ее кости и стали уже слабыми глаза, как ни была стара, а все-таки с возраставшей радостью глядела на то, что расстилалось у ее ног. Ее взор блуждал по этой долине, среди которой оба они проснулись. Там, далеко, за стенами леса, за самым отдаленным озером, за реками и за долами, тянулись безграничные пространства, которые составляли ее дом. До нее донесся неуловимый звук, которого не постиг еще Нива, почти не усваиваемый ухом рокот громадного водопада. Это был рокот от тысяч ручейков оттаявшей воды и от мягкого дыхания ветра сквозь хвою и траву, которые весенней музыкой прыскали в воздух.

Затем она глубоко вздохнула во всю свою грудь и, побуждая ворчаньем Ниву, стала осторожно спускаться с ним между скал к подошве кряжа.

На золотой равнине оказалось еще теплее, чем было на вершине гребня. Нузак отправилась прямо к краю трясины. Несколько птиц с громким хлопаньем крыльев вылетело из нее при их появлении, и это заставило Ниву испытать страх. Но Нузак не обратила на них внимания. Лягушка заявила громогласный протест против неожиданного появления Нузак и продолжала его затем громким кваканьем, от которого на спине у Нивы поднималась шерсть. Но Нузак и на это не обратила ровно никакого внимания. Нива заметил и это. Он все время следил за матерью, и инстинкт уже подготовил его ноги к тому, чтобы тотчас же бежать во всю прыть, как только она подаст ему для этого сигнал. В его забавной маленькой голове очень быстро создалось убеждение, что его мать представляла собою самое замечательное в мире создание. Судя по всему, она была самым большим живым существом, по крайней мере из всех тех, которые были снабжены ногами и двигались. Он убедился в этом в какие-нибудь две минуты, пока они проходили через болото. Здесь вдруг послышалось фырканье, раздался треск ломавшегося прошлогоднего камыша и, шлепая по колено в грязи, вдруг появился громадный лось, раза в четыре больше, чем сама Нузак, и при виде ее тотчас же обратился в бегство. Нива вытаращил глаза. Все-таки и на него Нузак тоже не обратила ровно никакого внимания!

Тогда и сам Нива сморщил свой крошечный носик и заворчал, точь-в-точь так, как он ворчал на уши и шерсть Нузак и на те палки, на которые наткнулся в темноте берлоги. Он сразу все отлично понял. Теперь он мог ворчать на все, на что бы только ни пожелал, как бы велико ростом ни было это все. Ведь это все убегало прочь при одном появлении его матери Нузак.

И весь этот первый яркий день прошел для Нивы в одних только открытиях, и с каждым часом он все более и более убеждался, что его мать была непререкаемой владычицей во всех этих новых для него и залитых солнцем местах.

Нузак была заботливой матерью и на своем веку дала жизнь уже двенадцати или пятнадцати поколениям медведей, а потому знала, что в этот первый день нужно было ходить как можно меньше, чтобы дать ножкам Нивы немного окрепнуть. Потому-то она и не задерживалась долго даже на этой мягкой трясине, а решила зайти по пути в ближайшую группу деревьев, где обыкновенно она ломала своими лапами у сосен сучья, чтобы добыть из-под их коры вкусный, липкий сок. После целого пиршества, состоявшего из разных корешков

и луковичных растений, Ниве понравился этот десерт, и сам он, в свою очередь, попытался сдирать коготками кору с деревьев. До самого полудня Нузак все ела и ела, до тех пор, пока не оттопырились у нее бока, а Нива, со своей стороны, то пососав материнского молока, а то покушав разных странных, но вкусных вещей, попадавшихся им по пути, не стал походить на барабан. Выбрав затем местечко, где от косых лучей солнца белая скала нагрелась так, точно печка, старая, обленившаяся Нузак прилегла отдохнуть, в то время как Нива, представленный самому себе, наткнулся вдруг в своих поисках приключений на яростного врага.

Это был громадный древесный жук-рогач в два дюйма длины. Его рога, которые он выставил спереди, были черны и походили на изогнутые железные гвозди. Он был весь совершенно черного цвета, и его точно выкованная из металла поверхность ярко сверкала на солнце. Нива лег на живот и с замиранием сердца стал следить, что он будет делать. Для него оказалось удивительнее всего то, что этот жук, находившийся от него на расстоянии всего только в какой-нибудь один фут, все-таки продолжал к нему приближаться! Это было и любопытно и в то же время и страшно. Первое за весь день живое существо, которое не испугалось и не убежало прочь! Медленно придвигаясь на своих шести ногах, жук издал дребезжащий звук, который Нива отлично расслышал; затем Нива нерешительно протянул к нему лапу. Тотчас же жук ошетинился и принял яростный вид. Его крылья зашевелились и загудели, точно пропеллер, клещи разжались так, что могли бы легко прищемить человеческий палец, и сам он стал вертеться на ногах, точно пустился в пляс. Нива отдернул лапу назад, и секунды две спустя жук успокоился и все-таки снова двинулся вперед.

Нива, конечно, не знал того, что все поле зрения жука ограничивалось всего только четырьмя дюймами в окружности и что далее этого он уже не видал; положение все-таки оставалось вызывающим. Но Нива был не таков, чтобы бежать от врага, даже несмотря на свой девятинедельный возраст. С отчаянным видом он снова вытянул лапу вперед, но, к несчастью, один из его тоненьких коготков нечаянно зацепился за жука и перевернул его вверх ногами так, что тот уже не смог ни жужжать, ни гудеть. Великая радость обуяла медвежонка. Дюйм за дюймом он стал приближать свою лапу к самой своей мордочке и делал это до тех пор, пока наконец не дотронул жука до самых своих зубов. Но здесь ему захотелось его понюхать. Это было для жука счастливым моментом. Его клещи сжались, и сон старой Нузак прервался от внезапного крика агонии. Когда она подняла голову, то Нива катался по земле, точно с ним случился припадок. Он фыркал, чихал и отплевывался. Нузак некоторое время пристально смотрела на него, а затем медленно поднялась и подошла к нему. Своею большой лапой она стала переворачивать его то так, то этак и вдруг увидела на нем жука, который крепко и решительно вцепился своими клещами ее детенышу прямо в нос. Тогда она повалила Ниву на бок так, чтобы он не мог больше двигаться, и стала медленно сдавливать жука меж двух зубов, пока наконец он не разжал своих клещей. А затем она его съела.

До самых сумерек Нива носился со своим раненым носом. А перед тем, как стемнело совсем, Нузак заковыляла обратно к своей скале, и Нива пососал на ночь ее молока. Потом он угнезвился ей под мышку, где оказалось очень тепло. Несмотря на все еще болевший нос, он чувствовал себя счастливым и к концу своего первого дня уже считал себя храбрецом, не боявшимся ничего, хотя ему и было всего только девять недель. Он вступил в свет, он видел много диковинных вещей и если и не остался в конце концов победителем, то все-таки великолепно провел свой первый день.

Глава II

В эту ночь у Нивы сильно разболелся живот. Вообразите себе младенца, только что отнятого от груди, который сразу же обожрался жареным мясом! То же случилось и с Нивой. По-настоящему ему следовало бы постепенно привыкать к грубой пище, по крайней мере с конца второго месяца, но в процессе интенсивного воспитания природа, казалось, сразу же принялась готовить его к великой и неравной борьбе, которая в недалеком будущем ожидала его впереди. Целые часы он простонал и проплакал, пока наконец Нузак не надавила ему своим носом на вздувшийся живот и его не вырвало тем, что было в нем лишнего. И ему стало легче.

После этого он заснул. Когда же он проснулся и открыл глаза, то его поразило яркое зарево пожара. Вчера он видел солнце, ярко блестящее и золотое и затем куда-то скрывшееся. Но теперь, в это северное весеннее утро, он в первый раз в жизни увидел, как что-то вспыхнуло на самом краю света. Зарево было красно как кровь, и по мере того, как он глядел на него, оно все росло и расширялось, пока наконец не охватило целой половины неба и не выполз вдруг какой-то странный, громадный шар. В первую минуту Ниве показалось, что это какое-то чудовище, которое плыло из-за леса прямо на него, и он испугался и с визгом стал будить свою мать. Что бы это ни было, Нузак все равно не испугалась бы. Она повернула свою большую голову к солнцу и, прищурившись, с торжественным спокойствием стала наслаждаться. Тогда и Нива стал чувствовать удовольствие от теплоты, исходившей от этого красного предмета, и, несмотря на все еще продолжавшееся первое возбуждение, вдруг замурлыкал от его ласки. Из красного солнце скоро превратилось в золотое, и вся долина сразу же преобразилась и зажила теплой, трепетной жизнью.

Около двух недель после этого первого в жизни Нивы восхода солнца Нузак оставалась вблизи своих скал и находившегося внизу болота. А затем наступил день, когда Ниве исполнилось одиннадцать недель, и он уже стал забегать в далекие темные леса и наконец готов был начать свои летние скитания. Его подошвы уже потеряли свою нежность, и он весил теперь уже целых шесть фунтов. Это было очень хорошо.

С того дня как Нузак отправилась наконец в свои скитания, для Нивы начались настоящие приключения. В темных таинственных глубинах лесов еще оставались залежи снега, которые еще не успело растопить солнце, и Нива скучал и плакал по теплой и светлой долине. Они прошли мимо водопада; и Нива впервые услышал рев низвергавшейся воды. Все глубже, темнее и угрюмее становился лес по мере того, как в него проникала Нузак. Здесь-то Нива и получил свои первые уроки по охоте. Дни шли за днями, и живые существа все пробуждались и выползали из-под повалившихся деревьев и из щелей в камнях, и Нива уже сам лично, без помощи матери, понял весь трепет и все возбуждение, которые вызывала в нем охота. Он опять встретил жука-рогача, но на этот раз уже убил его. Покончил он и с лесной мышью, впервые попавшейся ему по дороге. В нем очень быстро стали пробуждаться инстинкты его отца, который находился теперь в третьей или четвертой долине к северу от них и который никогда не упускал случая вступить с кем-нибудь в борьбу. К концу мая, то есть на четвертом месяце своей жизни, Нива уже ел все, что только мог убить такой медвежонок, как он.

Это было в начале июня, когда неожиданный случай вдруг сразу внес в жизнь Нивы радикальную перемену. Был теплый, мягкий, солнечный день, и старая Нузак сочла себя вправе после сытной еды поваляться некоторое время на солнце. Они только что вышли из невысокого леса и спустились на луг, через который, извиваясь между каменистыми берегами, тек по белому песочку неглубокий, быстрый ручей. Нива же спать был не охотник. Он всегда предпочитал сну наслаждение ярким полуденным солнцем. Маленькими круглыми

глазками он озирался по сторонам на этот удивительный мир, и ему казалось, что все в нем манило его к себе. Он оглядывался на свою мать и жалобно повизгивал: опыт говорил ему, что она будет оставаться глухой ко всему внешнему миру целые часы, пока наконец он не потеряет терпения и не укусит ее за ногу или не потреплет за ухо, и только тогда она вскочит и только затем, чтобы на него огрызнуться. Ему это уже надоело. Ему хотелось чего-нибудь более интересного, и он решил предаться своим приключениям самостоятельно.

В этот же самый день, когда уже садилось солнце, какой-то человек, стоя на коленях и упершись руками в землю, исследовал полосы песка, протянувшиеся на целые пять или шесть миль вдоль ручья. Рукава у него были засучены кверху, обнажая до половины загоревшие руки, и голова была непокрыта, так что вечерний ветерок развеивал его лохматые белокурые волосы, которые вот уже восемь или девять месяцев не видали ножниц и подстригались только охотничьим ножом.

По одну сторону этого индивидуума стояло железное ведро, а по другую, следя с величайшим интересом за каждым его движением, сидел самый неуклюжий и самый ласковейший щенок, который когда-либо рождался от отца макензийской породы и от матери-полукровки из эрдельской и шпицбергенской пород.

С этой трагической смесью в своей крови щенок представлял собою только то, что принято называть «настоящей собакой». Его вытянутый по песку хвост был длинен и показывал все свои позвонки; его лапы, точно ступни у мальчишки-подростка, были похожи на маленькие перчатки для бокса; его голова была в три раза больше, чем это полагалось бы соразмерно его телу, и, по какой-то случайной прихоти матери-природы, одно ухо у него было вдвое короче другого. Когда он следил за своим хозяином, то это половинное ухо торчало, точно гальванизированная кожа, тогда как другое, вдвое длиннее его, наострялось вперед с глубочайшим вниманием и с самым пытливым интересом. Голова, ноги и хвост были у него чисто макензийской породы, а уши и худощавое, короткошерстное тело говорили о тяжелой борьбе между эрдельской и шпицбергенской породами. В своем теперешнем негармоническом виде он представлял собою самого обычного щенка, какие обыкновенно бегают по задним аллеям парков в больших городах.

За несколько минут подряд его хозяин заговорил только в первый раз, и Мики всем своим существом показал, как он высоко ценит то, что его слова были обращены именно к нему.

– А здесь медведица и медвежонок! – воскликнул хозяин. – Это верно так же, как и то, Мики, что ты еще молокосос. И если я еще хоть что-нибудь понимаю в медведях, то будь уверен, что они прохаживались здесь только сегодня!

Он поднялся на ноги и стал наблюдать за тем, как глубокие тени уже стали окутывать лес. Затем он наполнил ведро водой. На несколько секунд последние лучи солнца осветили его лицо. Это было энергичное, полное надежд лицо. Оно пылало от радости жизни. И сейчас оно зажглось внезапным вдохновением, и глаза человека засверкали.

– Мики, – продолжал он, – за то, что ты такая еще неотшлифованная сокровищница добродушия и красоты, я отвезу твою дурацкую персону в подарок одной девице и знаю, что она за оба эти качества тебя полюбит. Только бы вот захватить с собою и этого медвежонка!..

Он стал насвистывать и, взяв ведро с водой, направился к зеленому лужку, находившемуся от него ярдах в ста.

За ним последовал по пятам и Мики.

Чаллонер, только недавно назначенный фактором от Великой Компании Гудзонова залива, расположился лагерем на берегу озера при самом впадении в него ручья, содержащего золотой песок. Для этого ему понадобилось немного: старая палаша, еще более изношенная лодка и пук соломы для подстилки. Но для человека чуткого к внешнему виду лесов и к массе звуков, исходящих от них, с первого же проблеска рассвета повсюду открываются

целые тома жизни. Это был представитель той расы людей, которые безбоязненно отправляются хоть на самый край света. Все его богатство составляло то, что было в нем и на нем. В этих остатках от его лодки и палатки, прошедших с ним в течение годовой борьбы за существование сквозь огни и воды и медные трубы, было для него что-то дружески-человеческое. Вся лодка была покороблена, избита и заплатана, его палатка так почернела от дыма и ветров, что была такого цвета, как копченая рыба, а его запасы провизии уже давно пришли к концу.

Над небольшим костром уже кипело содержимое его чайника и кастрюли, когда он вернулся к себе вместе с Мики, который неотступно бежал следом за ним; на угольях стояла треснувшая, но починенная сковорода, на которой уже зарумянились лепешки на муке с водой. В чайнике кипел кофе, а в кастрюле варилась рыба.

Мики угловато присел на задние ноги с таким расчетом, чтобы запах от рыбы тянул ему прямо в нос. Он нашел, что это было именно то, чего бы он с удовольствием теперь поел. Когда он следил за последними приготовлениями Чаллонера, готовившегося приняться за еду, то его глаза светились как два граната, и после каждого третьего или четвертого дыхания он облизывался и проглатывал слюну. Отсюда-то он и получил свою кличку. Он был вечно голоден и всегда был готов есть, как бы сыт ни был. Поэтому ему и дано было имя Мики, что значит барабан.

Поев рыбы и лепешек, Чаллонер закурил трубку и наконец высказал то, что у него было на уме.

– Завтра я пойду на медведя, – сказал он.

Прикорнув у потухавшего костра, Мики застучал о землю хвостом, точно это была палка, а не хвост, чтобы доказать этим, что он слушает.

– Я повезу тебя к девице вместе с медвежонком. Она с ума сойдет от радости.

Мики застучал хвостом еще чаще прежнего. «Отлично!» – казалось, хотел он ответить.

– Только подумать, – продолжал Чаллонер, глядя поверх головы Мики на целую тысячу миль вперед. – Целых четырнадцать месяцев – и вдруг мы возвращаемся с тобой к людям! Я повезу тебя и медвежонка одной девице в подарок. Что ты на это скажешь? Ты и понятия не имеешь, как она любит таких маленьких дьяволят, как ты, иначе ты не смотрел бы на меня таким дураком! И не твоей глупой башке понимать, что это за девушка! Видишь этот солнечный закат? Так она лучше его, на то она и моя избранница. О чем бы еще поговорить, Мики? Впрочем, больше не о чем; давай-ка лучше помолимся, да и на боковую!

Чаллонер встал и потянулся... Все суставы в нем захрустели. Он почувствовал в себе гигантскую силу.

А Мики, до сих пор все еще барабанивший хвостом, вскочил на лапы, побежал за хозяином и спрятался к нему под одеяло.

Глава III

Чуть-чуть брезжило раннее серенькое летнее утро, когда поднялся Чаллонер и развел огонь. Несколько позже вышел и Мики. Хозяин обвязал один конец веревки, оторванной от палатки, вокруг его шеи, а за другой привязал его к дереву. Другую веревку такой же длины он прикрепил к углам мешка из-под съестных припасов, так что его можно было перекинуть через плечо, как охотничий сак. Едва только стал алеть восток, как он уже был готов отправиться по следам Нивы и его матери. Поняв, что его не захотели взять с собой, Мики жалобно завыл, и когда Чаллонер обернулся назад, то увидел, что щенок бился на привязи и прыгал, как паяц, которого дергали за ниточки. Пройдя целую четверть мили вдоль ручья, он все еще мог слышать, как Мики громко и визгливо высказывал свой протест.

Чаллонер так рано начал свой день не из-за одного только личного удовольствия и не потому только, что ему хотелось увезти медвежонка вместе с Мики. Он нуждался в мясе, а в эту пору медвежатина была наиболее питательной; кроме того, у него не хватало уже жиров. Если бы ему удалось прикончить эту медведицу, то этим самым сократилось бы время для того, чтобы поскорее вернуться к цивилизации. Было уже восемь часов, когда он безошибочно набрел на свежие следы Нузак и Нивы. Это было на том месте, где Нузак четыре или пять дней тому назад ловила рыбу и куда они только вчера приходили еще раз, чтобы отдохнуть после еды. Чаллонер был в восторге. Теперь он был уверен, что найдет эту парочку где-нибудь около ручья и не на далеком расстоянии. Ветер был для него благоприятен, и с громадными предосторожностями и с ружьем наготове он стал продвигаться вперед. Он прошел спокойно и уверенно около часа, прислушиваясь к каждому звуку и движению и то и дело смачивая себе палец, чтобы уследить, не переменял ли направление ветер. Кроме того, не все ведь зависело и от воли самого человека. Но все сложилось в пользу Чаллонера.

В широкой плоской части долины, где ручей разбивался на несколько маленьких рукавов и вода текла между песчаными отмелями и каменистыми грядами, Нива и его мать не спеша ловили себе на завтрак раков. Никогда еще мир не казался Ниве таким прекрасным, как теперь. Его мягкая шерсть на спине сделалась от солнца нежною, как пух, точно у мурлыкавшего котенка. Он с удовольствием пошлепывал голыми ступнями по влажному песку, и ему нравилось, когда вода с плеском ударялась об его пятки. Он любил все звуки, раздававшиеся вокруг него: дыхание ветерка, шепот в вершинах сосен и кедров, журчание воды, попискивания кроликов в камнях и крики птиц; но более всего на свете он любил низкие, ласковые поварчивания своей матери.

Вот на этой-то согретой солнцем равнине Нузак и почуяла первые признаки надвигающейся беды. При внезапном дуновении ветерка до нее донесся запах человека!

Она тотчас же повернула к скалам. У нее еще до сих пор был на плечах глубокий рубец, который несколько лет тому назад она получила точь-в-точь при таком же запахе врага, которого она так теперь опасалась. Целые три года она не обоняла его и даже почти забыла о его существовании. И вот вдруг опять он, теплый и страшный, донесся до нее вместе с дыханием ветерка и заставил ее остолбенеть. Казалось, что и Нива тоже в эту минуту почуял близость грозившей опасности. Он остановился как вкопанный черным пятнышком на белом песке, всего только в двухстах шагах от Чаллонера, вперив взоры в мать, и его чуткий носик старался понять значение опасности, которую доносил до него ветер.

А затем случилось то, чего он еще ни разу в жизни не слышал: раздался оглушительный, потрясающий гул, что-то похожее на гром, но вовсе не гром; и он увидел, что его мать зашаталась на том месте, где стояла, и затем тотчас же припала на передние лапы.

Но уже в следующий за тем момент она поднялась с таким диким рычаньем, какого он от нее не слышал и в котором он понял для себя приказ спастись во что бы то ни стало.

Как и все матери, которым дано в удел самим нянчить и любить своих детей, Нузак прежде всего подумала о Ниве. Дотянув до него лапу, она угостила его шлепком, и Нива тотчас же со всех ног пустился искать убежища в ближайшем лесу. Нузак последовала за ним. Раздался второй выстрел, и как раз над ее головой с ужасным, визгливым звуком пролетела пуля. Но Нузак не торопилась. Она плелась позади Нивы, все время подгоняла его и как будто не чувствовала той адской боли, которую пуля, точно раскаленное докрасна железо, причиняла ей в паху. Они добрались наконец до опушки леса, когда Чаллонер послал ей вдогонку третий выстрел, на этот раз поразивший ее между передних ног.

Еще один момент – и медведи находились уже под защитой леса. Инстинкт заставил Ниву забраться в самую глушь, а позади него, все еще борясь со смертью и стараясь его прикрыть собою, шла за ним Нузак. Ее мозг стала завлакивать какая-то глубокая, непроницаемая тень, что-то такое, от чего глаза ее вдруг перестали видеть, и она поняла из этого, что ее жизненный путь уже приходит к концу. Прожив целые двадцать лет на свете, она теперь боролась из-за своих последних двадцати секунд. Она оставила Ниву около густого кедра и, как делала неоднократно и раньше, приказала ему на него взлезть. И тут-то, точно желая приласкать его в последний раз, она лизнула его горячим языком. А затем приготовилась к своей последней борьбе.

Увидев приблизившегося Чаллонера, она поднялась на дыбы и еще за пятьдесят шагов от кедра остановилась и стала его поджидать, все-таки повалив голову между плеч и тяжело дыша, а ее глаза угасали все более и более, пока наконец, испустив глубокий вздох, она не повалилась вдруг на землю, загородив собою дорогу своему врагу.

Когда Чаллонер подошел к ней, то она была уже мертва.

Со своего укромного местечка в самой густоте кедра Нива наблюдал за этой первой трагедией в его жизни и за тем, как приближался к нему человек. Вид двуногого зверя заставил его забраться еще глубже в хвою, и сердце забилося в нем от охватившего его ужаса. Он рассуждать не мог. То, что с ним случилось, было для него выше всякого рассуждения, как и то, что именно этот высокий двуногий зверь был причиной всего. Его маленькие глазки сверкали и готовы были выскочить из орбит. Он удивлялся, почему его мать не встанет сейчас на дыбы и не задаст хорошей встрепки этому врагу. Испуганный до последней крайности, он готов уже был слезть с дерева и бежать к матери, чтобы ее разбудить, но ни один мускул на ее крупном теле не двигался и к тому же около нее стоял, наклонившись, Чаллонер и оглядывал ее. Она точно окаменела.

Чаллонер даже покраснел от удовольствия. Правда, он стал убийцей, но по нужде. Он смотрел на роскошную шубу Нузак и на такое большое количество ее мяса, которого хватило бы для него на всю дорогу до самого дома. Он приставил винтовку к стволу дерева и стал разыскивать глазами медвежонка. Он знал повадки диких зверей и потому был уверен, что зверек находится где-нибудь поблизости от матери; поэтому он стал обшаривать ближайшие кустарники и оглядывать вершины деревьев.

Нива сидел, свернувшись, как шарик, на самой вершине, спрятавшись за густыми ветвями. Целые полчаса Чаллонер безуспешно разыскивал его, а затем махнул рукой и, решив заняться препарированием Нузак, пошел к ручью попить воды.

Как только он отошел, Нива тотчас же высунул свою голову из засады. Выждав несколько минут, он сполз с кедра на землю. Он жалобно позвал к себе мать, но та не двинулась. Тогда он подошел к ней сам и стал около ее неподвижной головы, нюхая отравленный запах человека воздух. Затем он стал тыкаться носиком в ее щеки, подсовывать его ей под шею и, наконец, стал дергать ее за ухо – его обычная манера ее будить. Но все это ставило его в тупик. Тогда он горько заплакал, взобрался к матери на мягкое тело и уселся на нем. Сперва в его плаче звучала какая-то странная нота, а потом он не выдержал и изо всех сил зарыдал так, как рыдает обыкновенно только человеческий ребенок.

Возвращаясь назад, Чаллонер услышал этот плач, и что-то вдруг больно отозвалось в его сердце и смутило его. Да, это был совсем детский плач! Плач ребенка, лишившегося матери.

Спрятавшись за карликовую сосну, он стал глядеть оттуда на Нузак и увидел, что Нива все еще сидит на спине у матери. Он убил на своем веку много разных зверей, так как убивать их составляло его профессию, как и выменивать шкуры зверей, убитых другими. Но он не видел раньше ничего подобного и почувствовал себя действительно виноватым.

– Мне жалко тебя... – прошептал он. – Бедняжка!.. Мне тебя жаль!

Это звучало почти просьбой о прощении. Но кончать дело все-таки надо было. Так тихо, что Нива не мог услышать, он подполз к нему против ветра и подкрался к нему сзади. Он был от него всего в каких-нибудь полутора саженьях, когда Нива понял наконец опасность. Но было уже поздно. Быстрым скачком Чаллонер уже был около него и прежде, чем Нива успел оставить спину матери, он накинул на него мешок.

За всю свою жизнь Чаллонер не испытывал более забавных пяти минут, как те, которые последовали вслед за этим. Несмотря на все свое горе и весь свой страх, Нива вдруг почувствовал, как в нем заговорила драчливая кровь его отца. Он стал царапаться, кусаться, лягаться и рычать. За эти пять минут в нем перебывало сразу пять дьяволят, и пока Чаллонер обвязывал ему шею веревкой и вталкивал его толстенькое тело к себе в мешок, все руки у него были исцарапаны и исцарапаны во многих местах.

Нива продолжал биться и в мешке до тех пор, пока не выбился наконец из сил и не перестал. А тем временем Чаллонер снимал с Нузак шкуру и срезал те куски мяса и жира, которые казались ему наиболее пригодными. Красота шкуры Нузак заставила заблестеть его глаза. Он завернул в нее куски мяса и жир, сложил ее за четыре угла так, как обыкновенно пеленают ребенка, привязал к ней ремни и перекинул их через плечи. Согнувшись под тяжестью полутора пудов, которые весили шкура и мясо, он взял свое ружье и Ниву. Было уже около полудня, когда он отправился в путь. А когда он добрался наконец до своего лагеря, то солнце уже садилось. Буквально всю дорогу, пока не осталось всего только какой-нибудь полумили до дома, Нива сражался, как Спартак.

Под конец он обессилел и лежал в мешке почти без признаков жизни и когда, почуяв что-то подозрительное, Мики подошел к его тюрьме, то он ни одним движением не выказал протеста. Теперь для него смешались уже все запахи, и он уже не различал никаких звуков. Чаллонер же едва доплелся до дому. Все кости и мускулы у него болели. Но на вспотевшем и загорелом лице все-таки светила гордость.

– Ах ты, храбрец! – сказал он, глядя на лежавший спокойно мешок и вытряхивая свою трубку, первую с самого полудня. – Бедовый ты чертенок!

Он привязал конец веревки от шеи Нивы к дереву и стал осторожно высвобождать его из мешка. Затем он вывалил его на землю и отошел несколько назад.

Теперь уже Нива был готов на любое перемирие по усмотрению Чаллонера. Но не его первого увидал он, вывалившись из мешка. Он увидел Мики! А Мики, вне себя от любопытства, вертелся тут же своим неуклюжим телом и так и знал по запаху заранее, что это непременно должен быть какой-нибудь интересный гость.

Глазки Нивы засверкали. Ну а этот неуклюжий, карнаухий отпрыск из клевретов чело-века-зверя был тоже его врагом, да? Эти неловкие извивы тела этого нового существа и помахи хвостом, точно палкой, тоже были вызовом на бой? Он так думал. Во всяком случае, это существо было одинакового с ним роста. И в мгновение ока, насколько позволила ему веревка, он бросился на щенка. Мики, который за момент до этого только лез к нему со своими дружбой и лаской, тотчас же был ниспровергнут на спину, его забавные лапы задрыгали в воздухе, и его жалобные вопли о помощи скоро превратились в дикий вой, невыносимым страданием огласивший золотую тишину начинавшегося вечера.

Чаллонера это поразило. В следующий за тем момент он хотел было развести маленьких забияк, но что-то такое произошло, что остановило его. Стоя прямо над Мики, который поднял кверху все четыре свои лапы, точно признавая себя уже побежденным, Нива медленно отвел свои зубы от нежной кожи щенка. На этот раз он увидел перед собою уже двуногого зверя – Чаллонера. Инстинкт, более тонкий, чем не окрепший еще рассудок, заставил его на некоторое время сдерживать себя и устремить свои круглые, как бусы, глазки на Чаллонера. А между тем Мики все еще продолжал болтать в воздухе ногами; он умоляюще скулил; его твердый хвост стучал по земле, точно это была просьба о пощаде; он облизывался и извивался, точно хотел этим убедить Ниву, что он даже и намерения не имел причинить ему хоть какую-нибудь неприятность. А Нива, уставившись на Чаллонера, презрительно ворчал. Затем он, не спеша, сполз с Мики. А щенок, все еще боясь тронуться с места, продолжал лежать на спине и дрыгать в воздухе ногами.

С выражением удивления на лице Чаллонер очень медленно отправился к палатке, вошел в нее и стал наблюдать оттуда сквозь дырочку в полотне.

Выражение злобы вдруг сошло с мордочки у Нивы. Он посмотрел на щенка. Быть может, в каком-нибудь отдаленном уголке его мозга наследственный инстинкт подсказал ему, что он мог потерять в щенке то, чего был лишен, благодаря отсутствию еще не родившихся братьев и сестер, – а именно друга детства, компаньона в детских играх. И Мики, со своей стороны, почуял перемену, сразу происшедшую в этом маленьком, черном, озлобившемся существе, которое только что было его врагом. И он радостно заработал своим хвостом и протянул к Ниве передние лапы. А затем, все еще опасаясь возможной случайности, он завертелся около его бока. Нива все еще не шевелился. Мики радостно стал прыгать.

А минутой позже, глядя сквозь дырочку в своей палатке, Чаллонер уже видел, что они стали осторожно обнюхивать друг у друга носы.

Глава IV

В эту ночь шел холодный мелкий дождь, надвинувшийся с северо-востока. Встав с туманной зарей, Чаллонер вышел, чтобы разжечь костер, и под ветками ели увидел Мики и Ниву. Оба тесно прижались один к другому и крепко спали.

Первым увидал человека медвежонок, и, прежде чем мог вскочить и щенок, Нива уже устремил свои сверкавшие глазки на этого странного врага, который так жестоко перевернул всю его жизнь. Изнурение от пережитого заставило его проспать столько часов подряд в эту первую ночь его плена, а во сне он позабыл о многом. Но теперь он снова вспомнил обо всем и, забившись еще глубже под ветви ели, стал плакать о своей матери так тихо, что его мог слышать только один Мики.

Мики же сразу чуть не завыл: он медленно развернулся из клубочка, свернувшись в который лежал, потянулся на своих длинных, переросших ногах и зевнул так громко, что звук от этого зевка дошел даже до Чаллонера. Он обернулся и увидел пару глаз, устремленных на него из лазейки под ветвями ели. Щенок насторожил оба свои уха – и целое, и половинку другого, – точно с безграничной радостью хотел убедить своего хозяина, что он предан ему бесконечно, до гробовой доски. Мокрое от дождя и загоревшее от бурь и ветра в течение целых четырнадцати месяцев, проведенных на дальнем севере, лицо Чаллонера, точно в ответ на это приветствие Мики, осветилось улыбкой, и щенок завертелся, завилял хвостом, запрыгал, стараясь в самых причудливых судорогах выразить, как он счастлив, что хозяин улыбнулся именно ему.

Когда таким образом все убежище под ветками освободилось для одного только Нивы, то он забился в самую глубину его, так что была видна оттуда только одна его круглая голова, и из этой своей временной засады он стал пристально глядеть своими яркими маленькими глазками на убийцу своей матери.

Живо представилась ему вся вчерашняя трагедия – теплое, залитое солнцем русло речки, в которой он и его мать Нузак ловили себе на завтрак раков, появление этого двуногого зверя, гул от странного грома, их бегство в лес и конец всему, когда его мать повернулась лицом к лицу к своему врагу. И не о смерти матери он вспомнил с такою горечью в это утро. Ему пришли на ум его собственная ужасная борьба с этим белым человеком и затем барахтанье в темных, душных глубинах мешка, в котором Чаллонер нес его к себе на стоянку. Даже и теперь еще Чаллонер сколько угодно может посматривать на царапины на своих руках! И ему тоже досталось на орехи! Вот он приблизился на несколько шагов и весело взглянул на Ниву, так же весело и добродушно, как только что глядел на этого угловатого щенка Мики.

Глазки Нивы метнули искры.

– Я же говорил тебе вчера, что сожалею о том, что произошло, – сказал Чаллонер таким тоном, точно разговаривал с равным себе.

В некоторых отношениях Чаллонер представлял собою необыкновенного человека, совершенно необычный тип на далеком севере. Он, например, верил в своего рода специальную психологию животного и вполне допускал, что если с животными обращаться и разговаривать, как с людьми, то всегда легко бывает добиться от них настоящего понимания, которое он, будучи не совсем образованным человеком, считал за разум.

– Я ведь говорил тебе, что мне жаль, – повторил он, опустившись на корточки перед ветками, из-под которых светились глазки Нивы, – и я это признаю. Мне грустно, что я убил твою мать. Но ведь нужны же нам с Мики мясо и жир? Кроме того, и я и Мики очень довольны, что ты теперь у нас. Мы повезем тебя с собой к некой девице, и если ты не добьешься от нее любви, то, значит, ты самое ничтожное и глупое создание в мире и вовсе не заслуживаешь матери. Ты и Мики будете как братья. Его мать тоже умерла, скончалась

от чахотки, а это, братец, похуже, чем смерть от пули, попавшей в легкие. Мики я нашел так же, как и тебя; он прижался к своей матери и плакал так, точно для него ничего уж больше и не оставалось на свете. Поэтому развеселись хоть немного и давай лапу! Ну, совершим рукопожатие!

Чаллонер протянул к медвежонку руку. Нива не двинулся и лежал, как камень. Немного раньше он заворчал бы и оскалил бы зубы. Но теперь он уже притих. Какое странное существо сидело перед ним на корточках! Вчера оно не причинило ему вреда, если не считать того, что сунуло его в мешок. И сейчас не собирается обижать его. Даже более. его тон не груб и не угрожает. Вот он перевел глаза на Мики. Щенок засуетился во все стороны около его коленей и с удивлением посмотрел на Ниву, точно хотел задать ему вопрос: «Почему ты не вылезашь из-под веток и не желаешь с нами позавтракать?»

Чаллонер протянул руку еще ближе, и Нива все время пятился от нее назад, пока наконец стало уже некуда. Затем вдруг случилось чудо, рука двуногого зверя коснулась его головы. И Нива почувствовал, что его передернула от этого какая-то странная, неприятная дрожь. Но рука все-таки не причинила ему вреда. Если бы он сам не забился так глубоко, то, наверное, цапнул бы ее или укусил бы. Но он не смог сделать ни того ни другого.

Чаллонер стал медленно перебирать пальцами в пушистой шерстке на затылке у Нивы. Заподозрив, что должно было случиться что-то неожиданное, Мики насторожился. Вслед за тем пальцы Чаллонера вдруг сжались, и в ту же минуту он потянул Ниву к себе и стал держать его от себя на расстоянии вытянутой руки. Медвежонок забился, стал высвобождаться и так завизжал, что из искренней симпатии к нему Мики тоже возвысил свой голос и присоединился к какофонии. Полминуты спустя Чаллонер опять посадил Ниву в мешок, но на этот раз так, что голова медвежонка выходила из него наружу, и завязал этот мешок туго вокруг его шеи очень прочной, крученной бечевкой. Таким образом, три четверти Нивы оказались в мешке, а голова вылезала наружу: Нива походил теперь на спеленатого ребенка.

Оставив медвежонка кататься и выражать свои протесты визгом, Чаллонер принялся за приготовление завтрака. Последствия показались Мики более интересными, чем сама операция, произведенная его хозяином, и потому он стал носиться вокруг Нивы, который бился в мешке изо всех своих сил, стараясь из простой симпатии оказать ему хоть какую-нибудь помощь. Но под конец Нива примирился, и Мики уселся около него и с серьезным видом, если не с упрёком, стал смотреть на своего хозяина.

Серое небо прояснилось и пообещало послать солнечные лучи, когда Чаллонер уже окончательно собрался возобновить свое путешествие на юг. Он стал нагружать свою лодку, оставив Ниву и Мики на самый последок. На носу в лодке он устроил мягкое, уютное гнездышко из шкуры медведицы. Затем он подозвал к себе Мики и привязал к его шее один конец веревки, а другой обмотал вокруг шеи Нивы. Таким образом, щенок и медвежонок оказались на привязи один у другого на пространстве всего только одного аршина. Взяв затем эту парочку за шиворот, он отнес ее на лодку и поместил в гнездо из шкуры Нузак.

– Ну, ребята, теперь будьте умниками! – сказал он. – Нам нужно сегодня сделать целые сорок миль, чтобы наверстать время, потерянное вчера!

И как только лодка отплыла, облака прорвались, и с востока приснул на них солнечный луч.

Глава V

В течение первых минут, пока лодка быстро скользила по поверхности озера, странная перемена вдруг произошла в Ниве. Чаллонер не заметил ее, да и Мики ее не понял. Но в Ниве дрожал каждый фибр, и сердце его затрепетало от радости, как и в те солнечные дни, когда он гулял вместе со своей матерью. Ему показалось, что к нему вернулось все, что он потерял, и что теперь все будет обстоять как нельзя лучше, потому что он почуял свою мать! А затем он вдруг открыл, что этот теплый и сильный запах исходил от черной шкуры, на которой он сидел, и постарался прижаться к ней поплотнее. Он лег прямо на живот, протянул перед собою передние лапы, положил на них голову и устался на Чаллонера.

Ему трудно было понять, почему здесь сидел на корме этот человек-зверь и гнал свою лодку по воде и почему именно под ним, медвежонком, находилась сейчас его мать, теплая и мягкая, но совершенно недвижимая. Он не удержался и завыл, чтобы низким, полным отчаяния голосом позвать к себе мать. Но ответа не последовало, и только завыл, в свою очередь, Мики – тоже осиротевшее дитя другой матери. А мать Нивы все еще не двигалась. Даже не издала звука. Кроме черной, пушистой ее шкуры без головы, без ног, без больших, плоских ступней, которые он так любил щекотать, и без ушей, за которые он так любил дергать, он не видел ничего. От нее не осталось ничего, кроме этой обрезанной со всех сторон шкуры и запаха.

Но удобство помещения согрело его испуганную маленькую душу. Он чувствовал покровительственную близость непобедимой и ограждавшей его силы, и в первый раз за все время его спина взъерошилась от теплого солнечного света, и он протянул еще дальше передние лапы и уткнулся между ними черным носиком в мех матери. Точно потеряв всякую надежду разрешить тайну своего нового друга, Мики также положил морду между передними лапами и стал пристально за ним наблюдать. В его комичной голове с одним длинным ухом, а другим вдвое короче, с нелепыми, торчавшими в разные стороны бакенбардами, унаследованными им от его эрдельских предков, он старался прийти хоть к какому-нибудь решению. С самой первой же минуты он встретил Ниву как друга и сверстника, – и Нива неблагодарно отплатил ему за это его отношение здоровой трепкой. Мики мог это простить и даже забыть. Но чего он не мог ему простить ни за какие коврижки, так это крайне злобных взглядов, которыми обливал его Нива. Его шутовские заигрывания не производили на него ровно никакого впечатления. Когда он лаял на него и прыгал вокруг него, ползая на животе и извиваясь, как змея, с любезным приглашением поиграть с ним в пятнашки или устроить примерную борьбу, то Нива смотрел на него, ничего не понимая, как дурак. И он задавал себе вопрос: быть может, Ниве нравится что-нибудь еще, кроме борьбы? Прошло много времени, прежде чем он решил попробовать сделать что-нибудь в другом направлении.

Было, по его мнению, столько времени, сколько могло пройти от завтрака до половины пути к обеду.

Все это время Нива едва шевелился, и Мики с ним стало скучно до смерти. Неудобства, пережитые от бури за истекшую ночь, уже были забыты, и над головой сияло солнце, не скрываемое ни малейшим облачком. Уже более часа тому назад лодка Чаллонера оставила озеро и теперь вошла в прозрачную, быструю реку, которая бежала из этого озера на юг в водоразделе между Джексоновым Коленом и Шаматтавой. Эта река была еще незнакома Чаллонеру. Она питалась водою из озера, и, опасаясь предательских порогов и быстрин, он все время держал себя начеку. Целых полчаса река текла все быстрее и быстрее, и Чаллонер был доволен тем, что ему удастся совершить переезд скорее, чем он предполагал. Но немного позднее он вдруг слышал долетевший до него спереди низкий и непрерывный шум, который дал ему понять, что он приближался к опасным местам. Когда он миновал ближай-

ший поворот, круто опоясывавший берег, то в четырехстах или пятистах ярдах ниже увидел перед собою торчавшую из воды скалу и около нее целый водоворот.

Глаз его быстро определил положение. Поток устремлялся между почти отвесно нависшим берегом с одной стороны и дремучим лесом с другой. Одним взглядом он определил, что проплыть под лесом для него будет удобнее, чем под скалой, но лес находился от него на противоположной стороне и сравнительно далеко. Поставив лодку под углом в 45°, он изо всех сил приналег и телом и руками на весла. Еще оставалось время добраться до противоположного берега раньше, чем начнутся опасные места. Несмотря на шум от течения, теперь он мог отлично слышать доносившийся до него рев водопада снизу.

Тут, не в добрый час, Мики пришло в голову еще раз попытаться поближе сойтись с Нивой. Он дружески замахнулся на него лапой. Для щенка лапа Мики была несоразмерно велика, а самая нога – длинна и худощава, так что когда он зацепил ею Ниву за нос, то это походило на удар в боксе. Неожиданность этого удара повлекла за собою решительную перемену в положении; вдобавок Мики размахнулся и второй передней лапой и, точно палкой, хватил ею Ниву по самому глазу. Это было уже слишком, даже со стороны друга, и, внезапно заворвав, Нива выскочил из своего гнезда и сцепился со щенком.

Теперь случилось как раз наоборот: так унизительно просивший пощады во время первой схватки Мики оказался в самом воинственном настроении. Помесь макензийской породы, высоконогой, широкогрудой и самой сильной на севере, с полукровкой от эрделя и шпица должна была в чем-нибудь сказаться. И вот, всегда добродушный, Мики вдруг превратился в дьявола. На этот раз он уже не просил о пощаде. Он принял вызов Нивы, и не прошло и двух секунд, как они уже затеяли первоклассный поединок на маленьком, ненадежном пространстве на носу утлой ладьи.

Напрасно кричал на них Чаллонер, выбиваясь из сил, чтобы избежать опасных порогов. Нива и Мики были слишком заняты собой, чтобы его услышать. Опять все четыре ноги Мики задрыгали в воздухе, но на этот раз его острые зубы крепко впились в шею Ниве. Он продолжал дрыгать и бить ногами так, что можно было поручиться, что от Нивы не осталось бы и мокрого места, если бы не случилось то, чего так опасался Чаллонер. Сцепившись вместе в один комок, они прямо с носа лодки свалились в самую быстрину реки.

Около десяти секунд они безнадежно провели под водой. Затем они показались на поверхности в добрых пятидесяти футах ниже его, прижавшись друг к другу головами, и их быстро относило к тому месту, где их ожидала неминуемая гибель. Чаллонер кричал изо всех сил. Для него было невозможно спасти их, и в его крике слышались ноты настоящего, острого горя, потому что вот уже несколько недель Мики был для него единственным другом и товарищем.

Привязанные один к другому веревкой всего только в один аршин длиной, Мики и Нива плыли прямо к пенившемуся водовороту порогов. Для Мики это было прямо счастьем, что его хозяину пришло в голову привязать его на одну и ту же веревку с Нивой. Будучи трех месяцев, Мики состоял из восьмидесяти частей костей и всего только одной части жиров и весил целых четырнадцать фунтов, тогда как в Ниве было девяносто частей жиров, и он весил всего тринадцать фунтов. Поэтому для Мики Нива оказался спасательным кругом, и ему было за что уцепиться, тогда как сам Нива был первоклассным пловцом и почти не погружался в воду.

Ни тот ни другой из юнцов не оказались желторотыми птенцами. Оба были в воинственном настроении и готовы были бороться, и хотя Мики и пробыл под водой большую часть времени, пока они плыли свои сто ярдов после первого падения в воду, однако он ни на одну минуту не сдавался в борьбе за то, чтобы иметь возможность высунуть нос на воздух. То он поворачивался на спину, то на живот; но какое бы он ни принимал положение, он работал своими лапами, как веслами. На некотором пространстве это очень помогало Ниве

в его героических усилиях удержаться от слишком быстрого движения по воде самому. Если бы он был один, то его бы понесло течением, как мяч, покрытый шерстью, прямо в быстрину, но с четырнадцатифунтовым грузом на шее не пойти ко дну было для него тоже очень серьезной задачей. Раз шесть он скрывался на некоторое время под водой, когда Мики терял равновесие или что-нибудь из его тела – хвост, голова или ноги – вдруг начинало тянуть его книзу. Но каждый раз Нива всплывал на поверхность, всеми четырьмя жирными лапами борясь за жизнь.

Но вот уже приблизился и водопад. К этому времени Мики уже перестал появляться над водой и, к своему счастью, уже не чувствовал в полной мере ужаса перед новым потоком, в который они должны были неизбежно низвергнуться. Его лапы уже больше не работали. Он еще ощущал в своих ушах рев от воды, но все теперь как-то смещалось и стало казаться ему менее неприятным, чем вначале. Попросту – он стал утопать. Но Нива никоим образом не соглашался предаваться приятным ощущениям безболезненной смерти. И когда наступал самый финал катастрофы, то ни один медвежонок во всем свете не мог бы оказаться так настороже, как он. Все время его голова держалась над водой, и он определенно владел всеми своими чувствами. А затем вдруг сама река как-то выскользнула из-под него, и он ринулся вниз с массой воды, уже больше не чувствуя на своей шее тяжести от веса Мики.

Какова была высота водопада, Чаллонер мог только догадываться. Если бы самого Ниву спросили об этом, то он мог бы поклясться, что летел вниз целую милю. Мики же уже не был способен ни на какие вычисления, и для него теперь было уже все равно: летел ли он вниз всего только два фута или целые две версты. Его лапы уже перестали работать, и он окончательно предоставил себя своей судьбе. Но Нива выплыл на поверхность снова, и Мики последовал за ним, как поплавок. Он уже был готов испустить свой последний вздох, когда силою течения, рикошетом отдавшегося от водопада, Ниву отбросило на край слегка залитого водой песчаного наноса. Сделав дикое, геройское усилие, Нива вытащил за голову и Мики, так что щенок повис на краю отмели, как висельник на конце своей веревки.

Глава VI

Отчаянным прыжком Нива выскочил на берег. Почувствовав под собою землю, он хотел было бежать, но в результате оказалось то, что Мики едва имел силы пройти по топкому месту два шага и затем, вдохнув в себя глубоко воздух, растянулся, как громадная улитка. Поняв, что его приятель в течение нескольких минут будет еще совершенно не способен продолжать путь, Нива отряхнулся и стал ждать. Но Мики быстро пришел в себя. Не прошло и пяти минут, как он встал на ноги и так бешено встряхнулся, что всего Ниву обдал грязью и водой.

Останься они на этом месте еще подольше – и все равно, через час или около того, их нашел бы здесь Чаллонер, потому что он уже греб окольными путями как раз к этому месту, держась около самого берега и приглядываясь, не всплывут ли их трупы. Возможно, что унаследованные от целого ряда поколений инстинкты предостерегли Ниву от возможности этой встречи, потому что не прошло и четверти часа после того, как они спаслись, как он уже тянул Мики прямо в лес, и тот послушно за ним следовал. Для щенка это было новым приключением.

Но Нива испытывал истинное наслаждение. Лес казался ему своим домом даже и без матери. После его безумных походов с Мики и с человеком-зверем прикосновение ступнями к мягкому бархатному ковру из сосновой хвои и знакомые запахи молчаливых глубин леса наполняли его все возрастающей радостью. Он опять был у себя дома. Он нюхал воздух, настораживал уши и дрожал от воодушевлявшего его сознания того, что теперь уж он будет сам себе хозяином. Это был для него новый лес, но это его мало беспокоило. Все леса были похожи один на другой; его царство составляли сотни тысяч миль вокруг него, и отличать каждый из них отдельно было для него невозможно.

Для Мики же дело обстояло совсем иначе. Он не только сознавал, что все далее и далее отходит от Чаллонера и от реки, но его все более и более приводило в смущение то, что Нива заводил его во мрак и таинственные глубины дремучего леса. Наконец он решил заявить определенный протест и, чтобы выполнить это, так неожиданно вдруг сдал назад, что Нива, бежавший на другом конце веревки, в крайнем удивлении перевернулся на спину. Воспользовавшись своим положением, Мики с энергией лошади потянул его назад к реке и так протянул его футов десять или пятнадцать, пока наконец медвежонок не успел снова встать на ноги.

Тогда началась борьба, кто кого перетянет. Повернувшись друг к другу задом и упершись передними лапами в мягкую землю, они стали растягивать веревку в противоположные стороны, пока не вытянулись у них шеи и глаза не выскочили на лоб. Нива тянул настойчивее и спокойнее, в то время как Мики, будучи собакой, то рвался вперед, то делал неожиданные судорожные отступления назад, давая этим Ниве возможность с каждым таким отступлением продвинуться хоть немного вперед. Но как бы то ни было, а вопрос в конечном результате должен был решиться так; тот будет победителем, у кого окажется крепче шея. У Нивы шея была жирная, да, кроме того, и силенки было больше. Но и Мики был тоже не дурак. В нем самом и в его длинных костях было достаточно точек приложения, чтобы иметь возможность тянуть, как на рычагах. И, протаскивая Ниву еще футов двенадцать, Мики принудил его наконец к сдаче, и медвежонок в конце концов должен был последовать по тому направлению, которое выбрал Мики.

В то время как инстинкты Нивы могли бы сразу, одним махом, довести его обратно до реки, намерения Мики оказались лучшими, чем его чувство ориентации. Нива следовал за ним совершенно равнодушно, когда вдруг увидел, что его приятель делает какие-то совершенно ненужные круги, которые медленно, но верно удаляли их в противоположную сто-

рону от опасной реки. Кончилось тем, что не прошло и четверти часа, как Мики окончательно сбился с дороги; он сел на задние лапы, посмотрел на Ниву и сознался в этом низким воем.

Нива застыл на месте. Его маленькие зоркие глаза вдруг увидели какой-то предмет, свешивавшийся в каких-нибудь пяти шагах от них с невысокого куста. Прежде чем познакомиться со зверем в образе человека, медвежонок три четверти своего времени проводил в еде, а тут с самого вчерашнего утра ему пришлось съесть одного только жука. Желудок его был совершенно пуст, и то, что свешивалось теперь с куста, заставляло его от удовольствия глотать обильно появившуюся слюну. Это было осиное гнездо. Несмотря на свою еще такую недолгую жизнь, он уже несколько раз видел, как его мать Нузак подкрадывалась к таким гнездам, срывала их с веток, раздавливала их лапой и приглашала его позавтракать вместе с нею дохлыми осами. Весь последний месяц осы бессменно включались в их каждодневное меню, и они казались ему самым вкусным блюдом. Он потянулся к гнезду; Мики последовал за ним. Когда они находились от гнезда всего только в трех футах, Мики стал испытывать ощущение очень определенного и какого-то особого беспокойства от жужжания ос; Нива же был как у себя дома; рассчитав расстояние между гнездом и землей, он встал на задние лапы, подпрыгнул, отчего у Мики чуть не вылезли на лоб глаза, схватил гнездо передними лапами и сорвал его с сучка.

Тотчас же обеспокоившее Мики жужжание перешло в целый рев, походивший на звук от громадной дровяной пилы. Мать Нивы быстро, как молния, наступала на гнездо своей лапой и сразу же выдавливала из него всякую жизнь, Нива же по своему малолетству был способен только сорвать его и лишь немного помять. Случилось так, что три четверти всех обитателей гнезда находились дома и воинственно вылетели наружу. Прежде чем Нива успел наступить на него лапой во второй раз, осы уже целым облаком успели броситься на свою защиту, и тут-то в дикой агонии завизжал вдруг Мики. Осы опустили ему прямо на кончик носа и повисли. Нива не издал ни звука, но стоял на задних лапах, закрыв передними всю свою мордочку. Мики же, все еще визжа, стал зарываться носом в землю. В следующую за тем минуту все осы принялись за работу. На этот раз Нива уже заворчал и повернулся задом к гнезду, потащив за собою и Мики. Щенок совсем не был способен за ним идти. На каждом квадратном дюйме его нежной кожицы сидело по осе, и он чувствовал, как раскаленные докрасна иглы впивались ему в тело. Но Нива теперь разошелся уже вовсю: его голос превратился в один непрерывный вой, и к этому его басу присоединился тонкий дискант Мики. Получилась такая какофония, что если бы проходил мимо какой-нибудь индеец, то он, наверное, предположил бы, что там танцуют черти.

Теперь уж осы, которые, так сказать, представляли собою конницу, могли бы уж и возвратиться к своей потревоженной неприятелем крепости, так как этот неприятель обратился в беспорядочное бегство, если б не совершенно потерявший голову Мики, который побежал по одну сторону березки, тогда как Нива побежал по другую. Эта неожиданность оставила их обоих на пути с такой силой, что у них обоих чуть не сломались шеи. Увидев это, осиный арьергард напал на них с новой силой. Придя в воинственный азарт, Нива перегнулся и хватил Мики по тому месту на его хребте, на котором было всего меньше волос. Уже полуслепленный и настолько вне себя от боли и страха, что совсем потерял всякую способность соображать и понимать, Мики вообразил, что острые, как бритвы, когти Нивы вонзились ему в спину еще глубже, чем укусы жужжавших так ужасно вокруг него ос, и, испустив отчаянный крик, решил дать ему отпор.

Этот отпор и послужил обоим к спасению. В своей мании постоянно извиваться, как змея, Мики обогнул березку, чтобы напасть на Ниву с другой стороны, и, когда таким образом освободилась сдерживавшая их веревка, Нива бросился искать от него спасения. Мики последовал за тем с громким лаем при каждом прыжке. Теперь Нива уже не испытывал ужаса

перед рекою. Инстинкт подсказывал ему, что ему теперь нужна вода и нужна во что бы то ни стало. И с такою же точностью, как Чаллонер двигался вперед, пользуясь своим компасом, он сломя голову помчался по направлению к реке, но, не пробежав и нескольких сот футов, они вдруг наткнулись на небольшой ручей, через который оба могли бы перепрыгнуть. Нива бросился прямо в воду, в которой оказалось около пяти дюймов глубины, и в первый раз за всю свою жизнь Мики охотно погрузился в нее целиком. Долгое время оба лежали, и вода перекатывалась через их спины. Небо стало казаться Мики с овчинку и в глазах у него потемнело, так как он стал пухнуть от самого кончика носа и до самого своего костлявого хвоста. Нива же, будучи жирным, страдал менее. Он еще мог смотреть перед собою, и по мере того, как проходили в этих муках долгие часы, целый ряд воспоминаний пронесся в голове медвежонка. Конечно, все это началось с легкой руки этого зверя в образе человека. Это он лишил его матери; это он посадил его в темный мешок; это он обвязал вокруг его шеи веревку. Постепенно Нива стал считаться с тем фактом, что именно эта самая веревка и была причиной всех несчастий.

Пролежав долгое время в ручье, они наконец вышли из него и нашли мягкое сухое логовище у подошвы большого дерева. Даже для Нивы, у которого вообще было острое зрение, стало казаться в лесу темнее. Солнце уже склонялось к западу, и воздух становился прохладнее. Лежа на животе и положив распухшую голову на передние лапы, Мики жалобно скулил.

Опять и опять Нива смотрел на веревку, точно относительно ее у него зарождалась какая-то мысль. Он плакал. Частью это была у него скорбь по матери, а частью он просто вторил Мики за компанию. Он подлез к щенку поближе, почувствовав вдруг непреодолимое желание иметь около себя кого-нибудь близкого. Ведь не Мики же был виноват во всем! Виноватыми были двуногий зверь и... эта проклятая веревка!

Вечерний сумрак сгустился вокруг них, и, прижавшись еще теснее к щенку, Нива взял в передние лапы веревку. С ворчаньем он потрогал ее зубами. Затем, решившись, стал ее жевать. То и дело он рычал, и в этом его рычании слышалась какая-то особая осведомительная нотка, точно он хотел сказать Мики: «Разве ты не видишь? Я перегрызаю эту веревку пополам. К утру я покончу с ней. Радуйся же! Для нас настанут лучшие дни!»

Глава VII

На следующий день после неприятного приключения с осиным гнездом Нива и Мики встали на все свои восемь одеревенелых и распухших лап, чтобы приветствовать свой новый день в глубине таинственного леса, в который их закинули события предыдущего дня. Дух неукротимой юности все еще не покидал их, и хотя Мики так весь распух от укусов ос, что его худощавое тело и несоизмеримые с ним ноги стали смешны еще более, чем прежде, — он все-таки нисколько не был склонен отказываться от дальнейших приключений.

Морда щенка была теперь кругла, как луна, а вся голова так распухла, что Нива мог бы подумать, что вот-вот она лопнет и разлетится на части. Но глаза Мики, насколько их можно было еще рассмотреть сквозь заплывшие веки, все еще по-прежнему горели задорным огоньком, и его большое ухо и половинка стояли так чутко, будто он каждую минуту ожидал со стороны Нивы распоряжений, что теперь делать и что предпринимать. Яд от укусов, по-видимому, не лишил его настроения. Он чувствовал, что стал а несколько раз толще, чем был, но это его не особенно удручало.

Благодаря тучности на Ниве как-то меньше было признаков борьбы с осами. Единственным его заметным недостатком был один совершенно закрывшийся глаз. Нива теперь глядел на все другим глазом, широко открытым и быстрым. Несмотря, однако, на то, что он так окривел, и на то, что ноги у него от укусов ос были теперь толсты, как колбасы, он все-таки был преисполнен оптимизма субъекта, увидевшего, что колесо фортуны повернулось в его сторону. Он отделался от зверя в образе человека, хотя тот и убил его мать; перед ним опять открывались леса, приглашая его к себе; веревку, на которую Чаллонер привязал его и Мики вместе к разным концам, удалось успешно перегрызть, на что он потратил целую ночь. Отделавшись сразу от таких двух зол, он не удивился бы теперь, если бы вдруг сразу из-за деревьев вышла к нему сама Нузак. Одна мысль о ней заставила его заплакать. И Мики тоже сознавал полное свое одиночество в этой новой для него обстановке и, думая все время о хозяйине, плакал с ним за компанию.

Но оба были голодны. Невероятная быстрота, с которой на них свалились несчастья, не дала им возможности даже поесть. Для Мики перемена была более чем простой неожиданностью; она овладела всем его существом, и он затаивал дыхание в предположении каких-нибудь еще больших неприятностей, тогда как Нива только и думал об одном лесе.

Точно убедившись, что все было как нельзя лучше, Нива повернулся задом к солнцу, как это обыкновенно делала его мать, и отправился в путь.

Мики последовал за ним. Вот тут-то он сразу и открыл, что вся эластичность его тела куда-то исчезла. Шея не поворачивалась, ноги стали как ходули и перестали сгибаться в сочленениях, и по пяти раз в течение каждых пяти минут он припадал на болевшие коленки и спотыкался о землю, стараясь не отставать от медвежонка. В довершение всего у него так распухли веки, что он плохо видел перед собой и в который уже раз, думая, что вовсе потерял Ниву, посылал ему вслед протестующие вопли. Вдруг Нива остановился и стал обшаривать носом под гнилым свалившимся деревом. Когда Мики подошел к нему, то он лежал уже на брюхе и кушал больших рыжих муравьев, стараясь ловить их как можно скорее, чтобы не упустить ни одного. Мики некоторое время наблюдал, как он это делал. Он сразу же понял, что Нива что-то ел, но ни за что на свете сам не мог бы догадаться, что именно он кушал. Будучи голоден, он приблизил свой нос к жевавшей пасти Нивы, высунул язык и стал лизать там же, где лизал и медвежонок, но ощущал одну только сухую шероховатость. И все время при этом Нива издавал радостные хрюканья, говорившие об удовлетворении. Целые десять минут он охотился на муравьев, пока наконец не съел всех до одного. После этого он отправился далее.

Немного позже они пришли к небольшому открытому пространству, где грунт был влажный и где, обнюхав почву и оглядев все кругом своим единственным глазом, Нива вдруг принялся раскапывать лапами землю. Скоро он выкопал оттуда какой-то предмет, белый, толщиной и ростом с палец человека, и с аппетитом стал его жевать. Мики удалось стащить у него кусочек, но разочарование его было велико. Предмет оказался твердым, как дерево; повертев его на зубах, Мики с отвращением выплюнул его, а Нива с благодарным ворчанием подхватил этот кусок корешка и съел.

Они отправились далее. Целых два часа, в продолжение которых у Мики еле хватало сил идти, он следовал по пятам за Нивой, и по мере того, как уменьшалась в его теле опухоль, все увеличивался в желудке голод. Скоро голод превратился в одно сплошное мученье. До сих пор Мики не нашел ровно ничего, что ему можно было бы поесть, тогда как Нива на каждом шагу находил для себя все новые и новые яства. К концу второго часа поданный природой медвежонку счет из ее ресторана оказался прямо-таки неоплатным. Между другими блюдами он включал в себя: полдюжины зеленых и черных жуков, бесчисленное количество личинок, твердых и мягких, целые колонны черных и рыжих муравьев, несколько белых червячков, добытых из самой глубины загнивших стволов, кучу улиток, молодую лягушку, яйца кулика, который улетел из-под самого носа, и из растительного царства – корешки разных деревьев и заячью капусту. То и дело он наклонял книзу нижние побеги тополей и откусывал с них верхушки. Кроме того, он отгрызал от елок молоденькие лапки и слизывал древесный клей там, где мог его найти, и закусывал обыкновенной свежей травкой.

Многие из этих яств попробовал и Мики. Он съел бы и лягушку, но Нива его в этом опередил. Сосновый и еловый клей только вяз у него в зубах, и от его запаха и горечи его тошнило. Между улиткой и простым камнем он не нашел почти никакой разницы, а когда он попытался съесть первого попавшегося жука, то, как на грех, он оказался испускавшим из себя вонючую жидкость, как это делает обыкновенный клоп, так что Мики уже не продолжал своих попыток в этом направлении. Он также откусил один раз вершину от побега какого-то растения, но вместо тополя нарвался на что-то горькое, отчего у него целые четверть часа жгло язык. Наконец он пришел к заключению, что единственным блюдом из меню Нивы, которое он с трудом смог бы съесть, была трава.

Что касается удовлетворения своего собственного голода, то его компаньон чувствовал себя все счастливее всякий раз, как ему удавалось прибавить к странной коллекции в своем желудке еще что-нибудь новое. Нива полагал теперь, что может кататься как сыр в масле, и то и дело самодовольно похрюкивал, в особенности с тех пор, как его больной глаз стал открываться и он мог видеть лучше. Несколько раз, когда он находил новые кучи муравьев, он с радостными взвизгиваниями приглашал на праздник и Мики. Но до полудня Мики следовал за ним по пятам, как верный телохранитель. Когда же Нива очень свободно разрыл гнездо, населенное сразу четырьмя громадными шмелями, убил их и съел, то на этом Мики и решил покончить.

С этого момента что-то подсказало Мики, что свое пропитание он должен был снискивать для себя сам. При одной только мысли об этом какая-то новая, неведомая дрожь пробежала по его телу. Глаза его теперь были открыты уже вполне, и опухоль на лапах уже опала. Кровь предков как-то сразу заговорила в нем и потребовала от него скорых и решительных действий, и он принялся за розыски сам. Он почуял еще не остывший в воздухе запах и побежал по нему, пока не выгнал куропатку, взлетевшую с громким хлопаньем крыльев. Это испугало его, но возбудило его еще большие. А еще через несколько минут, сунув нос в кучу хвороста, он уже лицом к лицу столкнулся со своим обедом.

Это был маленький кролик. Тотчас же Мики подскочил к нему и схватил его за спину. Услышав треск хвороста и крик кролика, Нива перестал есть муравьев и бросился к месту действия. Крик тотчас же прекратился, и Мики повернулся к Ниве, с триумфом держа кро-

лика в зубах. Кролик уже не дышал, и с яростным ворчаньем Мики принялся раздирать его на части. Нива стоял тут же и одобрительно похрюкивал. Мики заворчал еще яростнее. Нива не испугался, но продолжал бросать на Мики просительные взгляды и стал умоляюще похрюкивать, а затем не выдержал и понюхал кролика. Мики тотчас же перестал ворчать. Возможно, что он вспомнил, как Нива приглашал его не раз отведать с ним жуков и муравьев. И они съели кролика вместе. Завтрак кончился только тогда, когда от кролика не осталось вовсе не только мяса, но даже шерсти и самих костей. Затем Нива сел на задние лапы и высунул свой красный язык, в первый раз за все время, как лишился матери. Это было признаком того, что его желудок был уже переполнен и что наступил момент благодушия. Теперь уже больше ему ничего не хотелось, разве только поспать, и, томно потянувшись, он стал подыскивать себе для этого подходящее дерево.

Со своей стороны, Мики со сладостным чувством полной сытости жаждал новой деятельности. В то время как Нива тщательно разжевывал свою пищу, Мики совершенно не заботился о своем пищеварении и поглощал ее прямо кусками и потому успел съесть чуть не четыре пятых всего кролика. Поэтому он более не чувствовал голода. Но теперь он как-то особенно остро сознавал происшедшую с ним перемену, и это случилось с ним в первый раз за все время с тех пор, как он вместе с Нивой сорвался с лодки Чаллонера прямо в водоворот. Это случилось с ним потому, что он в первый раз убил и в первый раз отведал теплой крови, отчего во всем его существе появилось какое-то странное возбуждение, действовавшее на него сильнее, чем овладевшее им желание лечь на солнышке и сладко поспать. Теперь, когда он понял, что такое дичь, охотничьи инстинкты пробудились в каждой фибре его маленького существа. Если Нива не найдет сейчас себе для отдыха укромного местечка, то он отправится охотиться, пока будут держать его ноги.

И вдруг он с удивлением, от которого чуть не лишился своего ума, увидел, что Нива преспокойно стал взлезать по стволу на высокий тополь. Мики видел, как всползали на деревья белки и как взлетали на них птицы, – но чтобы мог вскарабкаться на дерево Нива, этого он никак не мог от него ожидать. Мики не мог прийти в себя до тех пор, пока медвежонок не расположился комфортабельно на вилообразном суку. Тогда, не поверив глазам, Мики залаял, обнюхал ствол дерева и попробовал нерешительно взлезть на дерево сам. Но, свалившись спиной на землю, он убедился, что для того, чтобы уметь взлезать на деревья, нужно быть специалистом. С чувством горького разочарования он отошел футов на пятнадцать или на двадцать назад и сел, чтобы обдумать положение. Он не допускал, чтобы Нива имел на дереве какие-нибудь особые занятия. Конечно, он не мог там охотиться на жуков. И Мики несколько раз ему полаял, но Нива не ответил. Тогда щенок понял, что делать больше нечего, и, безутешно заскулив, лег на землю.

Но спать он вовсе не собирался. Его безумно тянуло идти вперед. Ему хотелось проникнуть еще далее в таинственные и манившие к себе глубины леса. Он более уже не испытывал той странной боязни, которая угнетала его, пока он не загрыз кролика. В какие-нибудь две минуты мать-природа совершила одно из своих чудес по воспитанию. В эти две минуты из жалкого, хныкавшего щенка Мики вдруг сразу преобразился в животное, почувствовавшее в себе новые силы и понимание. Он сразу же усвоил всю ту науку, познание которой только затягивалось благодаря его общению с Чаллонером. Он убил, и почувствованный им от этого трепет сразу же воспламенил каждый дремавший в нем инстинкт. В течение получаса, пока он лежал на животе, а Нива спал на дереве, он, держа голову настороже и прислушиваясь, прошел целых полпути между состоянием щенка и сознанием взрослой собаки. Он никогда не знал своего отца, который считался знаменитой охотничьей собакой и однажды даже затравил громадного лося-самца. Но он чувствовал в себе его. Было что-то настоящее и требовательное в этом зове предков Мики. И потому, что он отвечал на этот зов и так

чутко вслушивался в шептавшие ему из леса голоса, его острый слух и услышал монотонное хлопанье дикобраза.

Мики не шелохнулся. Моментом позже он услышал мягкое постукивание иголками, и вслед за тем дикобраз вышел на открытое место, поднялся на задние лапки и стал греться на солнце.

Уже тринадцать лет этот дикобраз безмятежно жил в этом самом местечке дикого леса. В своем преклонном возрасте он весил целых тридцать фунтов. В это послеполуденное время, собираясь так поздно пообедать, он был более, чем обыкновенно, счастлив. В лучшем случае он плохо видел. Природа не постаралась создать его зрячим далеко и взамен этого снабдила его острыми иглами, которыми он мог бы защищаться. В каких-нибудь тридцати шагах он совершенно не замечал Мики, по крайней мере так казалось; и Мики еще плотнее прижался к земле, так как быстро пробудившийся в нем инстинкт подсказал ему, что связываться с таким странным животным с его стороны было бы неумно.

Чуть не целую минуту дикобраз простоял так на задних лапках, напевая свою дикобразью песню, без всякого видимого движения телом. Он стоял к Мики в профиль и походил на почтенного чиновника.

Он был так толст, что у него выпячивалось вперед брюхо, точно полушарие, и на этом брюшке он сложил передние лапки так, что совершенно походил на человека и скорее был похож на беременную женщину, чем на мужчину.

Вслед за тем Мики увидел дикобразиху, которая исподтишка вылезала из-под куста невдалеке от дикобраза. Несмотря на уже преклонные годы, бес ударил старого дикобраза в ребро, он почувствовал в себе романтические порывы и тотчас же стал проявлять свои хорошие манеры и изящество. Он начал со смешного любовного танца, переступая с одной ноги на другую, так что стал трястись его живот, и заклохтал еще громче, чем до этого. Чары дикобразихи были способны вскружить голову даже не такому старику, каким был дикобраз. Поэтому она даже и виду не подала, что ей понравился любовный танец старого селадона, и, почувствовав это, он тотчас же изменил свою тактику и, опустившись на все свои четыре ноги, точно сумасшедший вдруг стал ловить себя за остроконечный хвост. Когда же он перестал это делать и огляделся, чтобы увидеть, какой это произвело на нее эффект, то, к своему разочарованию, заметил, что она уже скрылась. Затем он как-то глупо уселся на одном месте и не проронил больше ни звука. Потом, к изумлению Мики, он отправился прямо к тому дереву, на котором спал Нива. Как оказалось, это дерево служило для дикобраза столовой, и он, все время что-то бормоча себе под нос, стал на него взбираться. Шерсть на Мики ошетибилась. Он не знал, что дикобразы, как и вся их порода, – самые добродушные существа в мире и никогда никому не причиняют вреда, если их не трогать первыми. Совершенно не имея об этом понятия, он вдруг бешено залаял, чтобы предупредить Ниву.

Нива медленно пробудился и, открыв глаза и увидев прямо перед собою остроконечную морду, задрожал от страха. С внезапностью, благодаря которой он был на волосок от падения со своего места прямо на землю, он вскочил и стал взбираться выше на дерево. Но на дикобраза это не произвело ни малейшего впечатления. С горя, что на него не обратила внимания дикобразиха, он весь теперь был поглощен предвкушением своего обеда. Он продолжал не спеша вскарабкиваться на дерево, и, чтобы уступить ему дорогу и дать ему возможность без помехи пройти далее, Нива отступил назад на боковую ветку.

К несчастью для Нивы, это была та самая ветка, на которой дикобраз ел в предыдущий раз, и поэтому и он тоже свернул на нее и стал идти по ней же, совершенно не обращая внимания на то, что на ней уже находился и медвежонок. Видя это, Мики стал снизу так пронзительно лаять, что дикобраз стал наконец догадываться, что случилось что-то не совсем обычное. Он поглядел вниз на Мики, который в напрасных усилиях старался вспрыгнуть на ствол дерева; затем равнодушно отвернулся от него и тут только впервые, с видимым инте-

ресом, увидел Ниву. Нива же в это время только с трудом держался на ветке, уцепившись за нее сразу всеми четырьмя своими лапами. Сделать что-нибудь на этой ветке, которая под тяжестью двух тел уже опасно свесилась книзу, для него, казалось, было уже невозможно.

В эту самую минуту дикобраз стал злобно ворчать. Неистово залаяв в последний раз, Мики отошел от ствола, сел на задние лапы и стал наблюдать, чем разрешится эта потрясающая драма, разыгрывавшаяся над его головой. С каждой минутой дикобраз продвигался все далее и далее вперед, а Нива шаг за шагом от него отступал, пока наконец не сорвался совсем и не повис на ветке спиной прямо к земле. Тогда дикобраз перестал уже наступать и спокойно принялся за свою еду. Две или три минуты Нива висел вниз головой. Два раза он старался как-нибудь вытянуться, чтобы достать до веток, росших ниже его, но все было напрасно. Наконец его задние ноги соскользнули с ветки, и он несколько времени принужден был висеть только на одних передних. А затем, не удержавшись и на них, он свалился с высоты целых пятнадцати футов прямо на землю. Он так громко шлепнулся около Мики прямо животом, что из него даже вышел воздух. С хрюканьем он поднялся потом, посмотрел с удивлением на дерево и, без дальнейших объяснений с Мики, со всех ног пустился в самую глубину леса – прямо навстречу тем приключениям, которые должны были послужить пробным камнем для них обоих.

Глава VIII

Нива остановился только тогда, когда они пробежали уже по крайней мере с четверть мили.

Мики показалось, будто он сразу же после солнечного дня попал во мрак вечера. Часть леса, в которую так стремительно ввел его Нива, показалась ему обширной, таинственной пещерой. Даже Чаллонер остановился бы здесь, приведенный в смущение величием молчания, завороченный загадочным шепотом вершин деревьев – единственным звуком в этом лесу. Солнце стояло еще высоко, но его лучи не проникали сквозь зеленый густой колтун из листьев и хвои, точно потолок сплетшихся в одну массу над головами Мики и Нивы. Вокруг них не было ни кустика, ни молодых порослей; под их ногами не росло ни цветочка, ни малейшей былинки. Только один толстый, мягкий бархатный ковер из рыжих, опавших с сосен иголок, который заглушил под собою всякую растительную жизнь. Как будто бы в этом месте нимфы устроили для себя спальню, защищенную во всякое время года от ветра, дождя и снега; или точно оборотни избрали для себя это место, чтобы из этого заколдованного, мрачного убежища делать на сынов человеческих свои бесплотные набег.

Ни одна птичка не попискивала в деревьях. В их плотно сомкнувшихся ветвях не слышалось ни малейшего движения жизни. Кругом стояла такая тишина, что Мики слышал даже биение жизни в своем собственном теле. Он поглядывал на Ниву, и в полумраке глазки медвежонка сверкали странными огоньками. Ни один из них не испытывал страха, но в этом молчании пещеры их дружба возродилась снова, и в их маленьких, диких сердечках закопошилось вдруг что-то такое, что заполнило в них пустоту, оставшуюся у Нивы после смерти матери, а у Мики – после потери хозяина. Щенок ласково заскулил, и Нива ответил ему мурлыканьем, исходящим из самой глубины горла, и последовавшим затем хрюканьем, походившим на хрюканье домашнего поросенка. Они подошли друг к другу поближе, стали плечом к плечу и принялись оглядываться по сторонам. А затем, немного погодя, они отправились далее, как два маленьких ребенка, которые стараются проникнуть в тайну старого, заброшенного дома. Они не охотились, но в них проснулись все их охотничьи инстинкты, и они то и дело останавливались, чтобы оглядеться, прислушаться и понюхать воздух.

Все это напомнило Ниве о той темной берлоге, в которой он родился. А что, если его мать появится сейчас из одной из этих темных лесных глубин? Не спит ли она здесь, как когда-то предавалась спячке в своей мрачной берлоге? Эти вопросы невольно, хотя и туманно, приходили ему на ум. Ведь все здесь так походило на берлогу, в которой было так мертвенно-молчаливо, и уже на коротком расстоянии здесь мрак сгущался в непроницаемую тьму. Такие места индейцы обыкновенно называют «мухнеду» – лесные пространства, лишенные всякой жизни благодаря присутствию нечистых духов, ибо только они, нечистые духи, по их мнению, приказывают деревьям расти так густо, чтобы они не пропускали сквозь листву солнечных лучей. И только одни совы водят здесь компанию с нечистой силой.

Там, где теперь стояли Мики и Нива, замедлил бы шаги и дикий волк и повернул бы назад; лисица шарахнулась бы прочь, бросившись со всех ног обратно, даже бессердечный горноста́й, пожалуй, безбоязненно заглянул бы сюда своими круглыми, как бусинки, красными глазами, но тотчас же, под влиянием инстинкта, убежал бы в более открытые лесные пространства. Потому что здесь, вопреки тишине и мраку, чуялось что-то живое. В засаде, в самой глубине темных вершин деревьев это «что-то» жило и поджидало. Оно насторожилось даже тогда, когда Нива и Мики только впервые нарушили своим приходом эту тишину, и со всех сторон, точно круглые шарики, засветились на них зеленоватые огоньки – чьи-то глаза. Это «что-то» не издало ни малейшего звука и не проявило в густых вершинах деревьев ни малейшего движения. Это были призраки «мухнеду» – громадные совы, которые глядели

не мигая, о чем-то тяжело думали и ожидали. И вдруг громадная тень слетела вниз с темного хаоса ветвей и бесшумно пролетела как раз над самыми головами Нивы и Мики, и так близко, что они могли слышать грозный рокот гигантских крыльев. Как только это подобное призраку существо скрылось, до них донеслись шипение и шелканье крепким клювом. Дрожь пробежала по всему телу у Мики. Инстинкт, который все время влек его к борьбе и бурно копошился в нем, вдруг как взрыв пороха вырвался наружу. Он быстро почуял близость неведомой и неминуемой опасности. Крепко упершись в землю своими большими передними лапами и задорно подняв голову к темным вершинам деревьев, Мики поднял отчаянный лай, и даже скорее не лай, а вой. Ему хотелось, чтобы птица сама налетела на него. Он страстно желал потрепать ее за перья, и в то время, как он так дерзко вызывал своего соперника на бой, Нива вдруг вскочил на ноги и с жалобным воплем со всех ног бросился бежать, пока хватало у него сил. Если Мики не сознавал всей опасности, то он, Нива, вполне понимал создавшееся положение. Им руководил инстинкт, усвоенный бесчисленным количеством его предков. Он знал, что там, в этих мрачных глубинах леса, над ними и вокруг них таилась смерть, – и убегал так, как не убегал еще ни разу в жизни. Мики следовал за ним.

Они увидали над собой проблеск солнечного света. Деревья стали толще, и скоро опять начал пробиваться к ним день, так что теперь они уже более не находились в полных мрака и пустоты лесных тущах. Если бы они пробежали еще хоть сто ярдов далее, то они очутились бы на опушке леса, у широкого, открытого пространства, на котором и охотились обыкновенно те совы. Но чувство самосохранения еще не оставило Ниву; он все еще слышал над собой гудевшие, точно отдаленный гром, крылья совы; поэтому, когда он увидел на своем пути нагроможденные бурями друг на друга стволы старых деревьев, то он так быстро юркнул под них, ища защиты, что несколько времени Мики недоумевал, куда он мог так скоро скрыться.

Заполз туда же вслед за ним и сам Мики, повернулся и высунул голову наружу. Он был разочарован. У него все еще были оскалены зубы, и он продолжал ворчать. Ему было жаль, что он побегал вслед за Нивой, и хотелось вернуться обратно, чтобы покончить с врагом. Кровь эрдельской породы и шпица заговорила в нем еще сильнее, чем прежде, и он нисколько не боялся поражения. Кровь же отца толкала его на единоборство. Это было настоятельным требованием его породы, этой смеси в нем волчьей наглости и лисьей настойчивости с громадной физической силой макензийской собаки. И если бы Нива не забился так трусливо в самую глубину бурелома, то он обязательно побегал бы обратно и вызвал бы лаем на бой своего пернатого соперника, от которого так позорно пришлось теперь убежать.

Почти целый час Мики не двинулся с места, и в этот час, как и тогда, когда он в первый раз загрыз кролика, он почувствовал, что он сразу же вырос. Когда же наконец осторожно выполз из своей лазейки, то солнце уже заходило за находившиеся на западе леса. Он огляделся, насторожился, нет ли где какого-нибудь движения, и прислушался к звукам. Жалкие, точно у просившего извинения щенка, манеры уже сошли с него. Теперь он выпрямился. Его угловатые до этого ноги вдруг стали крепки, точно выточенные из прочного дерева; тело напряглось; уши насторожились; голова гордо приподнялась между крепкими, широкими плечами. Теперь он знал, что вокруг него и перед ним открывалось сказочное царство приключений. Развернувшийся перед ним мир уже не был теперь для него ареной ребяческих игр и сладкого сна на коленях у своего хозяина. Нет, теперь что-то более важное и значительное открывалось перед ним впереди. Он лег на живот, полежал некоторое время у лазейки и стал перегрызать веревку, спускавшуюся с шеи. Солнце закатилось еще ниже. Затем оно и вовсе скрылось. И все еще Мики ожидал, когда наконец Нива вылезет из своего заточения и ляжет с ним рядом на открытом воздухе. А когда сумерки сгустились в более глубокий мрак, то он сунулся было обратно в лазейку, но почти тут же натолкнулся на выходявшего Ниву. Оба вместе они стали вглядываться в таинственные пространства ночи.

Некоторое время продолжалась абсолютная тишина, которая обыкновенно наступает на Севере в первый же час темноты. На чистом небе стали зажигаться звезды, сперва по парочкам, а потом вдруг высыпали все. Появилась молодая луна. Она уже стояла, задрав рожки, над лесами, посылая от себя золотые потоки, и в этих потоках ночь казалась еще более наполненной причудливыми густыми тенями, которые не двигались и не издавали звуков.

Долго лежали они так, бок о бок, все время не спали и прислушивались. По ту сторону бурелома слышались мягкие шаги выдры, и они почуяли ее запах; издалека до них донеслись крик шакала, брехня беспокойной лисицы и мычание лося, щипавшего траву на берегу озера, замыкавшего равнину. А затем, наконец, случилось то, что заставило у них кровь потечь быстрее и их самих почувствовать глубокое замирание сердца.

Сначала это казалось на далеком расстоянии от них – яростный вой волков, очевидно гнавшихся за добычей. Он волнами врывался в равнину с северной стороны, и эти волны доносились до них вместе с порывами дувшего с северо-запада ветра. Потом вой целой стаи стал слышаться совсем уже отчетливо, и туманные образы и почти не поддававшиеся пониманию воспоминания, мирно до сих пор дремавшие в мозгу у Мики, вдруг воплотились в жизнь. Это заговорил в нем не голос Чаллонера, который он слышал уже не раз, но это были голоса, которые были ему уже давно знакомы: голоса его гиганта отца Гелы, голос его матери Нумы и голоса всех его предков за сто, а может быть, и за тысячу поколений до него; и этот его инстинкт достался ему именно от этих поколений, и эти его ранние детские воспоминания были унаследованы им именно от них. Несколько позже он научился уже распознавать по внешнему виду волка и собаку и находить между ними разницу. Но в настоящую минуту, именно теперь, когда этой разницы он еще не знал, голос его крови дошел и до него, помимо всякой его воли. Он забыл о Ниве. Он уже не обратил внимания на то, как испуганный медвежонок снова и еще глубже забился под бурелом. Он поднялся на ноги, выпрямился, и для него уже не существовало более ничего на свете, кроме доносившегося до него красноречивого языка стаи волков.

Как стрела, напрягши все свои силы и стараясь обезумевшими глазами проникнуть сквозь мрак ночи, чтобы увидеть хоть отдаленный блеск воды, которая могла бы послужить ему защитой, молодой олень спасал свою жизнь от настигавших его волков. Они были от него всего только в каких-нибудь ста ярдах. Их стая уже окружила его в виде подковы и уже готова была сомкнуть вокруг него оба ее конца, а затем перекусить ему жилы на ногах и убить. В эти последние минуты все волки вдруг сразу затихли, и молодой олень почувствовал свой конец. С отчаянием он рванулся направо и влетел, как молния, в лес.

Мики услышал, как он бежал прямо на него, и посторонился поближе к бурелому. Десятью секундами позже олень уже промчался мимо него, всего только в двух-трех саженьях от него, в виде большой, причудливой тени, освещенной луной; Мики услышал его надрывные, глубокие вздохи, полные агонии и безнадежности от приближавшейся смерти. Он так же скоро и скрылся, как и прибежал, и вслед за ним, совсем около Мики, вдруг пронеслись бесшумно, как тени, гнавшиеся за оленем волки; они промчались так быстро, что Мики показалось, будто это налетел и пронесся мимо ветер.

Целые минуты после этого он стоял и напряженно прислушивался, но тишина снова воцарилась среди ночи. Затем он забрался под бурелом и улегся рядом с Нивой.

Он провел ночь в беспокойном, отрывочном сне. Ему снилось то, что он уже давно успел забыть. Ему приснился Чаллонер, привиделись холодные ночи и большие костры; он слышал во сне голос своего хозяина и почувствовал опять прикосновение к себе его руки. Но над всем этим распространялся и все это могуче застилал собой дикий, охотничий призыв его далеких предков.

Едва забрезжил свет, как он уже вылез из-под бурелома и стал обнюхивать ту дорогу, по которой пробежали вчера олень и стая волков. До сих пор Нива руководил Мики в их взаимных скитаниях; теперь их роли переменились; Нива стал следовать за ним. Ноздри Мики наполнились густым запахом, оставленным волками, и он определенно повел Ниву по направлению к равнине. Чтобы выбраться к опушке леса и выйти на равнину, для него потребовалось всего только полчаса.

Здесь он остановился.

В двадцати футах ниже его и в пятидесяти в сторону оказался полуобъеденный скелет молодого оленя. Но не это заставило Мики почувствовать разлившуюся по всему его телу дрожь, так как сердце его оставалось спокойным. Из ближайших кустов выходила отставшая от стаи волчица, чтобы воспользоваться мясом животного, которого она вовсе не ловила. Это было противное на вид, вислозадое, с оскаленными зубами существо, страшно похудевшее после болезни от отравленной приманки, на которую оно попало; от нее так и отдавало коварством, трусостью и тем, что она пожирала своих же собственных волчат. Но для Мики это было все равно. В ней он видел живые плоть и кровь своей матери, воспоминание о которой смутно еще жило в нем и которую он чуял в ней благодаря инстинкту. С минуту или две он провел весь дрожа, а затем спустился вниз с таким видом и чувством, как если бы подходил к Чаллонеру; он сделал это с большими предосторожностями, с еще большей нерешительностью, но со странным томлением духа, какого не могло бы вызвать в нем присутствие даже человека. Он находился от волчицы всего только в двух шагах, когда она почувствовала около себя его близость. Запах матери вдруг теплом донесся до его обоняния и всего его наполнил неизъяснимой радостью. И все-таки Мики еще боялся. Но это был не физический страх. Растянувшись на земле и положив морду между передними лапами, он жалобно заскулил.

Волчица тотчас же обернулась, оскалила зубы во всю длину челюстей, и ее налившиеся кровью глаза вдруг прыснули в него угрозой и подозрением. Мики не имел времени, чтобы отпрыгнуть прочь или издать какой-нибудь звук. С быстротою кошки старая чертовка бросилась на него и укусила его. Ее челюсти сомкнулись, и она тотчас же убежала. От ее укуса у него из плеча потекла кровь, но не боль от раны заставляла его некоторое время оставаться на месте настолько спокойно, что его можно было бы принять за мертвеца. На том месте, где была только что волчица, все еще держался запах матери. Его мечты разлетелись в прах. То, что сохранила еще для него память, тотчас же и умерло с первым же глубоким вздохом от невыносимой боли, и для него, как и для Нивы, теперь уже больше не существовало ни Чаллонера, ни матери. Но вместо них перед ним открывался весь мир! В нем восходило и заходило солнце, из него истекали трепет и аромат жизни. А тут же около него – совсем близко от него – веяло густым приятным запахом сырого мяса.

Он жадно его понюхал. Затем он обернулся и увидел, что черный, со смешною обезьяней мордочкой Нива уже неуклюже сползал к нему вниз, чтобы вместе с ним приняться за завтрак.

Глава IX

Они ели, как только могут есть проголодавшиеся животные. Будучи в высокой степени практичными, они не оглядывались назад и не думали о том, что с ними случилось, а целиком погрузились в использование настоящего. Несколько дней встряски и приключений, через которые они прошли, показались им целым годом. Скорбь Нивы по матери стала все более и более затихать, а Мики уже совсем примирился с потерей своего хозяина и уже освоился со своим положением. От последней ночи у них еще свежи были в памяти громадная таинственная птица в лесу, олень, затравленный и зарезанный волками, и (в частности для Мики) короткая, жестокая расправа с ним волчицы. В том месте, где онахватила Мики зубами за плечо, у него все еще стояла жгучая боль, но тем не менее это не лишало его аппетита. Все время ворча во время еды, он нажирался до тех пор, пока наконец, как говорится, не отвалился от нее совсем.

Тогда он сел на задние лапы и стал смотреть по тому направлению, куда скрылась волчица. Оказалось, что она ушла на восток, по направлению к Гудзонову заливу, через обширную долину, тянувшуюся между двух невысоких горных хребтов, которые, как две стены леса, окрашенные утренними лучами солнца в желтый и зеленый цвет, уходили далеко-далеко к горизонту. Мики даже и не воображал до сих пор, как все на свете обстоит совсем иначе, чем он это себе до сих пор представлял. Перед ним широко открывался полный чудес, многообещающий рай: широкие, мягкие, зеленые луга, группы лесов, похожие сперва на городские парки, а затем переходившие постепенно в более густые и более дремучие леса, большие полосы кустарников, весело зеленевших на солнце, там и сям проблески воды, а в полумиле далее – озеро, точно гигантское зеркало, оправленное в ярко-зеленую раму из листьев и хвои.

Вот туда-то и ушла волчица. Он подумал: не вернется ли она обратно? И понюхал: не пахнет ли ею воздух? Но в его сердце уже больше не было тоски по матери. Что-то уже стало говорить внутри его, что между волком и собакой – большая разница. Вначале он еще смутно надеялся, что где-то на свете еще есть его мать, – и вот ошибся, приняв за нее эту волчицу. Но теперь уж его не проведешь! Еще бы немножко – и волчица вовсе откусила бы у него плечо или, что еще хуже, точно в клещах сжала бы его горло. Но уж это больше не повторится. В него уже стал внедряться Единый Великий Закон, непримиримый закон, состоящий в том, что выживает всегда и остается победителем всегда только сильнейший. Жить – значит бороться, убивать; уничтожать все, что только ходит и летает. Повсюду подстерегают его опасности – и на земле, и в воздухе. После потери Чаллонера только в одном Ниве, в этом осиротевшем медвежонке, он нашел сердечного друга. И он направился к Ниве, оскалив по дороге зубы на какую-то ярко оперенную птицу, которая по крошечным кусочкам склевывала с оленя мясо.

За несколько минут перед тем Нива весил двенадцать фунтов; теперь же стал весить целых пятнадцать. Его брюхо распухло, как бока туго набитого дорожного мешка, и он сидел теперь, сгорбившись, на теплом солнышке, облизываясь и безгранично довольный собою и всем окружающим. Мики потерялся об него, и Нива по-приятельски захрюкал. Затем он повернулся на спину и пригласил Мики поиграть с собой. Это случилось с его стороны в первый раз; и Мики с веселым лаем стал на него прыгать. Царапаясь, кусаясь, давая друг другу пинки и сцепившись в дружеской свалке, во время которой Мики сердито ворчал, а Нива хрюкал и взвизгивал, как настоящий поросенок, оба они неожиданно скатились с откоса вниз. До конца откоса было не менее сотни футов, и они полетели, точно два шара, перевертываясь через головы на всем его протяжении. Ниве это понравилось. Он был кругл и жирен и катился вниз легко.

Совсем другое дело было для Мики. Он весь состоял из ног, кожи и выступавших наружу костей и, катаясь, то и дело сбивался, перекувыркивался и съезживался в комок, пока наконец, скатившись вниз окончательно, не шлепнулся об землю с такой силой, что почувствовал головокружение, и уже решил, что из него уже и дух вон. Кое-как с глубоким вздохом он поднялся на ноги. Некоторое время весь мир кружился и вертелся вокруг него с такой настойчивостью, что его стало тошнить. Затем он встряхнулся, овладел собой и отошел от Нивы на несколько шагов.

Нива только что очухался от такого развеселого открытия. После мальчика на санках и бобра на его плоском хвосте никто так не наслаждался катаньем с горы, как маленький черный медвежонок, и, пока Мики приходил в себя и собирался с духом, Нива уже вскарабкался обратно на двадцать или тридцать футов ввышину и преспокойнейшим образом скатился вниз еще раз! Мики даже раскрыл рот от удивления. И опять Нива взобрался наверх и снова скатился вниз – и у Мики даже перехватило от этого дыхание. Целых пять раз он наблюдал, как Нива то поднимался наверх на двадцать или тридцать футов, то скатывался обратно. После пятого раза он набросился на Ниву и дал ему такого тумака, что дело чуть не кончилось дракой.

После этого Мики стал производить разведки вдоль подошвы ската, и на пространстве сотни футов Нива охотно следовал за ним, но далее наотрез отказался идти. На четвертом месяце своей жизни, полный юношеского самоудовлетворения, он был доволен тем, что природа произвела его на свет и что поэтому он с бесконечным удовольствием мог наполнять свой желудок. Для него еда была единственной и главной целью его существования. То же, что Мики, по-видимому, задумывал вовсе бросить такой вкусный и сочный остов молодого оленя, наполнило Ниву тревогой и вызвало в нем дух сопротивления. Несмотря ни на что, он отбросил в сторону всякие помышления об играх и прямо отсюда отправился к тому занятию, которое составляло сто процентов всей его деятельности.

Заметив это, Мики бросил все свои разведки и присоединился к нему. Они побежали вместе к остову оленя и, когда были от него всего только в двадцати ярдах, принуждены были спрятаться за ближайшую груду камней, чтобы наблюдать оттуда. То, что они увидели, заставило их смутиться и остоленеть. Две громадные совы, одна белая, а другая коричневая, отдирали мясо от костей и пожирали его. С другой стороны из-за невысокого кустарника выходила волчица. С облезлой спиной, с красными глазами, с лохматым хвостом, извивавшимся, точно змея, она была похожа на злодейку и серой, мстительной тенью прокрадывалась на открытое место. Отвратительная внешне, она все-таки не оказалась трусихой. Она бросилась прямо на белую сову с таким рычаньем и стремительностью, что это заставило Мики еще плотнее припасть к земле.

Волчица глубоко вонзила свои клыки в перья белой совы. Захваченная врасплох, сова, наверное, лишилась бы своей головы еще раньше, чем успела бы приготовиться к борьбе, если бы не сова коричневая. Подняв от оленьего мяса свою измазанную кровью голову, она с пронзительным горловым криком, с таким криком, какого не бывает больше ни у одного живого существа на свете, бросилась на волчицу. Она вонзила ей в спину свой клюв и когти, и волчица выпустила свою жертву из пасти и яростно бросилась на своего нового врага. Таким образом, на некоторое время белая сова была спасена, но зато на долю коричневой выпала самая трагическая судьба. Каким-то случайным, счастливым движением волчице удалось схватить своими длинными, зубастыми челюстями ее за огромное крыло и буквально вырвать его из тела. Визг агонии, который испустила коричневая сова, говорил о смерти; тогда белая сова поднялась на воздух, несколько поколебалась и затем быстро и с такой силой опустилась на спину волчицы, что у той подкосились ноги.

Белая сова глубоко запустила волчице под кожу свои острые когти и с мстительностью и с жестоким упорством вступила с ней в борьбу не на жизнь, а на смерть. В этой схватке

волчица почувствовала около себя призрак конца. Она бросилась на спину и стала кататься из стороны в сторону; она громко завывала и забарахталась ногами в воздухе в тщетных усилиях освободиться от острых когтей, все глубже и глубже впивавшихся в ее внутренности. Белая сова цепко висела на ней, перекатываясь вместе с нею с боку на бок, хлопая своими гигантскими крыльями и сжимая свои когти с такой хваткой, какую была бы не в состоянии разжать сама смерть. А тем временем на земле умирала ее коричневая товарка. Кровь ее жизни вытекала у нее из раны на боку, но, уже видя перед собою призрак смерти, она все-таки старалась напрячь последние усилия, чтобы хоть чем-нибудь помочь своей заступнице. И, героиня до конца, белая сова не разжимала своих когтей, пока не умерла и сама.

Волчица поплелась в ближайшие кусты. Там она освободилась от громадной совы. Но все ее тело было исполосовано глубокими ранами. Кровь текла у нее из живота, и по мере того, как она старалась пробраться в самую гущу, за ней оставался ярко-красный след крови. Пройдя с четверть мили, она повалилась под ветви молодой сосны. И здесь, немного позже, околела.

Для Мики и Нивы эта свирепая схватка еще более расширяла рамки скромного, но с каждым днем увеличивавшегося понимания тех загадок, которыми так полон был мир. Они и сами убивали животных – Нива своих жуков, лягушек и шмелей, Мики – своих кроликов, и только потому, что им обоим хотелось есть. Они проходили через те опыты, которыми с самого их первого вступления в жизнь доказывалась существовавшая кругом азартная игра со смертью. Но для такой бесполезной и ненужной борьбы, которую они только что видели своими собственными глазами и которая происходила вот тут на открытом воздухе, так сказать, у самых их дверей, требовалась какая-то высшая точка напряжения, – и это дало им новую точку зрения на жизнь.

Много времени прошло прежде, чем Мики вышел вперед и стал обнюхивать дохлую сову. Теперь уж у него не было ни малейшего желания подбежать к ней и в порыве ребяческого торжества и жестокости начать ощипывать с нее перья. Теперь уж в нем вместе с большим пониманием родились и новые силы, и новые знания. Смерть этих обеих сов научила его признавать бесценное значение молчания и осторожности, потому что он теперь знал, что на свете есть много живых существ, которые не испугаются его и не убегут при его появлении от страха прочь. Теперь уж он отбросил в сторону свою безбоязненность и вызывающее презрение к крылатым существам; он понял, что земля принадлежит не ему одному и что для того, чтобы получить на ней для себя хоть маленький уголок, он должен будет сражаться так, как сражались вот эти волчица и две совы.

В Ниве же процесс дедукции совершился совсем иначе. Его порода не была предназначена природой для драк, за исключением разве тех редких случаев, когда медведи ссорились между собой. Она не создала для медведей обычая питаться исключительно животной пищей, и другие животные не охотились на них. Кроме того, ведь не виноват же он был в том, что появился на свет медведем! Ни одно живое существо во всей округе, где он родился, не было достаточно сильно, ни в единственном числе, ни в группах, чтобы свалить взрослого черного медведя в открытой борьбе. Поэтому Нива ровно ничего не знал о таких сражениях, как трагедия волчицы и сов. Пожалуй, его преимуществом являлась колоссальная осторожность; теперь же его главным интересом было то, чтобы никакие волчицы и совы больше не прикасались к остову оленя. Он принадлежал ему, и на костях у него все-таки кое-что еще оставалось.

Широко открыв свои кругленькие глазки в ожидании какой-нибудь новой неприятности, он постарался поскорее скрыться в укромное местечко, тогда как Мики принялся за обследование поля сражения. От трупа совы он перешел к костяку оленя, а от него направился по следу волчицы, все время обнюхивая его, к тем кустам, куда она скрылась. У их

опушки он набрел на вторую сову. Он не пошел дальше и возвратился к Ниве, который за это время решил, что опасаться больше нечего, и вышел из своей засады.

Наступила светлая звездная ночь, и всю ее оба они почти что не спали, а все вздрагивали и прислушивались. А на самом рассвете они сошли к костяку и поели. И так день потянулся за днем, и ночь последовала за ночью, и мясо и кровь оленя вливали в Ниву и Мики силу и рост, и они быстро развивались. Уже на четвертые сутки Нива стал таким толстым и гладким, что весил вдвое больше, чем тогда, когда свалился с лодки в воду. Мики тоже стал полнеть. Теперь уже нельзя было сосчитать все его ребра с далекого расстояния. Грудь его развилась, ноги потеряли свою угловатость. Практика на костях оленя развила ему челюсти. По мере своего развития он все меньше и меньше стал чувствовать в себе прежнее ребяческое желание поиграть и все больше и больше стал проявлять беспокойное стремление к охоте. В одну из ночей он опять услышал вой гнавшихся за кем-то волков и почувствовал в нем что-то дикое, влекшее его к себе и заставившее его испытывать в себе какую-то странную дрожь.

Нива, тучность, добродушие и самодовольство были синонимами. Пока около него был достаточный запас еды, он не испытывал никаких искушений уйти с этого места. Два или три раза в день он спускался к ручью; каждое утро и вечер, в особенности во время захода солнца, он забавлялся тем, что скатывался вниз по откосу. Вдобавок к этому каждый день после обеда он усвоил себе привычку спать на ветвях сосны. А так как Мики не испытывал ни желания, ни спортивного чувства к тому, чтобы тоже скатываться с горы вниз, и так как не умел взбираться на деревья, то он и стал проводить больше и больше времени в рекогносцировках. Ему очень хотелось, чтобы и Нива принимал участие в таких его экспедициях. Но ему не удавалось это до тех пор, пока он не заставлял Ниву насильно сойти с дерева вниз или пока ему не удавалось наконец всеми правдами и неправдами сбить его в сторону с его единственного пути, который он совершал к водопою и обратно. Но упорство Нивы все-таки не вносило между ними никакой заметной розни. Мики был для этого слишком хорошего о нем мнения, и если бы в конце концов дошло до окончательного решения и Нива получил бы уверенность, что Мики в самом деле не вернется к нему более уже никогда, то он, без сомнения, последовал бы за ним куда угодно.

Но явилось другое и притом более могущественное, чем обычные ссоры, обстоятельство, которое поставило между ними первый большой барьер. Мики принадлежал к той породе животных, которая всегда предпочитает свежее мясо, тогда как Ниве более нравилось мясо «с душком». На четвертые сутки то, что еще оставалось от оленя, стало пованивать. На пятый день Мики ел уже с трудом, а на шестой – и вовсе от него отказался. Но для Нивы с каждым днем, по мере того как вонь становилась все гуще и отвратительнее, мясо приобретало еще большую пикантность. А на шестой день, для еще большего удовольствия, он стал по нему кататься. В эту ночь, в первый раз за все время, Мики не мог спать с ним рядом.

Седьмой день был еще чреватее. От оленя уже смердело до самого неба. Легкий июньский ветерок разносил эту вонь и вверх, и вниз, и во все стороны, пока наконец не слетелись отовсюду вороны и не заняли этого места. Это заставило Мики с видом высеченной дворняжки удалиться к самому ручью. Когда Нива сошел к нему в это утро, чтобы попить, то от него так воняло, что Мики обнюхал было его, а затем бросил его и убежал. Да и на самом деле между Нивой и костяком оленя было теперь очень мало разницы, за исключением разве только того, что один из них лежал без движения, а другой еще двигался. Но оба смердели ужасно; оба определенно были «с душком». Даже вороны стали кружиться около Нивы, не понимая в удивлении, почему именно он бродил, как живое существо, когда по запаху был падалью.

В эту ночь Мики спал один, у самого ручья, забившись под нависший куст. Он был голоден и чувствовал себя одиноко и в первый раз за все время осознал безграничность и

пустоту вселенной. Ему было скучно без Нивы. Он скулил по нем в звездное молчание долгих часов между заходом солнца и рассветом. А солнце было уже высоко, когда наконец Нива соблаговолил к нему сойти. Медвежонок только что окончил свой завтрак и свое утреннее скатыванье шариком с горы, и от него воняло еще больше, чем накануне. Опять Мики старался всеми правдами и неправдами привлечь его к себе, но Нива, по-видимому, бесповоротно решил остаться при своем отвратительном вонючем блаженстве. И в это утро более, чем обыкновенно, он был обеспокоен необходимостью как можно скорее вернуться к своему оленю. Весь день вчера ему пришлось отгонять от своего лакомства ворон, а сегодня они, как нарочно, слетались в двойном количестве, чтобы ограбить его. Похрюкав и повизжав о чем-то Мики, он напился поскорее из ручья воды и торопливо побежал обратно.

В это утро, возвращаясь к себе, он увидел, что весь костяк был буквально черен от насевших на него ворон. Орда этих могильщиков целым облаком слетела вниз, и все они старались прицепиться к падали, дрались между собою и хлопали крыльями, точно все до одной сошли с ума. Другое облако летало в воздухе уже наготове; каждый куст, каждое дерево, росшее вблизи костяка, согнулось под их тяжестью, и их черное с отливом оперение блистало на солнце так, точно все они только что вышли из-под рук эмалировщика. Нива остановился в изумлении. Он не испугался; уже много раз он прогонял этих трусливых нахалов. Но он никогда в жизни не видел такого их громадного количества. Пожалуй, от его запасов не останется и следа. Даже земля под ними казалась вся черной.

Он бросился на них из-за камней, оскалив зубы, как делал это уже не раз. Последовало величественное хлопанье крыльями. В воздухе от них сразу же потемнело, и воронье карканье, раздавшееся вслед за этим, вероятно, было слышно за целую милю в окружности. Но на этот раз вся эта орда не улетела обратно к лесу. Благодаря своему количеству вороны осмелели. Вкус оленьего мяса и запах от него, еще стоявший у них в клювах, возбуждали в них аппетит до сумасшествия. Нива был поражен. Над ним, позади него и со всех сторон вокруг него летали и описывали спирали вороны, каркали и вопили на него, а те, которые были похрабрее, подлетали к нему настолько близко, что задевали его крыльями. Их угрожающее облако становилось все гуще и гуще, а затем все они, как лавина, вдруг опустились на землю. Они снова принялись за оленя. Нива был почти смят ими. Он почувствовал себя погребенным под массой их крыльев и тел и стал из-под них освобождаться. Со всех сторон на него посыпались удары клювами, от которых летела с него клочьями шерсть; другие долбили его чуть не в самые глаза. Он почувствовал, как они стали отрывать от его головы уши, и не прошло и нескольких секунд, как из его носа уже ручьями текла кровь. У него захватило дыхание; он уже ничего перед собой не видел и, полный недоумения, он в каждой точке своего тела чувствовал невыносимую боль. Об останках оленя он уже забыл. Единственное, чего он теперь больше всего желал, – это поскорее выбраться на открытое пространство, чтобы как-нибудь убежать от врагов.

Пустив в ход все свои силы, он бросился со всех ног бежать и наконец выбился из этой сплошной массы окружавших его живых тел. Увидев, что не удалось с ним справиться, многие из воронов оставили его в покое и полетели к добыче. Тем временем он добежал до половины пути к тому месту, куда скрылась волчица, и уже все вороны, кроме одного, бросили его и занялись своим делом. Этот один, точно рак клешней, вцепился ему клювом в короткий хвост и висел на нем, точно мертвый, все время, пока он бежал без оглядки и вскочил наконец в кусты. Тогда ворон взлетел на воздух и присоединился к своим собратьям, которые уничтожали последние останки оленя.

Теперь уж и самому Ниве хотелось, чтобы около него был Мики. Его взгляд на вещи опять переменялся. Теперь он был изранен во всех местах. Вся кожа на нем горела, точно в огне. Даже подошвы на ногах испытывали боль, когда он ступал на них, и целых полчаса

он пролежал под кустом, зализывая свои раны и принюхиваясь к воздуху, не идет ли к нему Мики.

Затем он сошел к ручью и оттуда обследовал всю ту дорожку, по которой оба они обыкновенно ходили взад и вперед. Но напрасно он старался отыскать своего товарища. Он хрюкал и взвизгивал и пытался уловить в воздухе его запах. Он опять побежал к ручью и опять вернулся обратно. Теперь останки оленя его больше уже не интересовали.

Мики исчез неизвестно куда.

Глава X

Еще за целую четверть мили Мики слышал вороний крик. Но он вовсе не был расположен возвращаться назад, даже и в том случае, если бы догадался, что Ниве нужна была его помощь. После долгого поста он был голоден и в ту минуту имел определенное решение. Он рассчитывал напасть на след чего-нибудь съестного, как бы мало и ничтожно это съестное ни было, но добрая миля отделяла его от того места, где он мог бы найти хотя бы даже рака. Он дошел до того места, поймал рака и съел его прямо с кожей. Это, по крайней мере, хоть уничтожило у него во рту противный вкус.

Судьбе угодно было послать ему в этот день еще один случай, который он не забывал потом всю свою жизнь. Теперь, когда он был один, воспоминание о хозяине уже не было у него так расплывчато, как вчера и в предыдущие дни. По мере того как утро переходило в полдень, в его мозгу еще более живо стали проноситься картины, медленно, но верно перебрасывавшие мостик между теми двумя берегами, которые создала дружба между ним и Нивой. Теперь уж его покинула на некоторое время неудержимая тяга к приключениям. Несколько раз он подумывал, не возвратиться ли и впрямь обратно к Ниве. Только голод гнал его все дальше и дальше. Он поймал еще двух раков. Затем вода в ручье стала глубже и потекла уж медленнее и стала менее прозрачной. Два раза он выгнал старых кроликов, но они от него легко удрали. Один раз он чуть-чуть было не поймал молодого. Часто из-под него с громким шумом крыльев выпархивали куропатки. Он встречал соек, дятлов и много белок. Все бы они могли утолить его голод, если бы только он смог их поймать. А затем судьба сжалась над ним. Сунув морду в дупло повалившегося дерева, он нашел в нем зайчонка, и притом так удачно, что зайчонку невозможно было оттуда выбежать. Две-три минуты спустя он в первый раз за все эти три дня так вкусно и сытно пообедал.

Он прошел еще немного дальше на юго-восток, и, прежде чем солнце скрылось окончательно, он сделал с четверть мили. Уже в сгустившихся сумерках он пересек проход Биг-Рок между Бивером и Луном.

Этот проход еще не был проезжей дорогой. Только в очень редкие промежутки времени здесь иногда продвигались путники, пробираясь к северу и пользуясь этим путем в своих переходах с одного водного пути на другой. Раза три или четыре за целый год – и это самое большее – волк мог бы почуять запах человека. А в этот вечер именно этот запах был здесь настолько свеж, что Мики даже остановился, неожиданно на него наткнувшись. На некоторое время он даже окаменел от охватившего его целиком изумления. Для него все потеряло свой интерес перед фактом, что он напал на путь, проложенный человеком, и что поэтому здесь же должен пройти и его хозяин Чаллонер. Он отправился по следу, сперва медленно, как бы боясь потерять его совсем. Наступила затем темнота, а он все еще шел по этому следу, настойчиво, при свете звезд, не обращая внимания ни на что на свете и только весь охваченный инстинктом собаки, соскучившейся по дому и страстно желающей увидеть хозяина.

Наконец он добежал до самого берега озера Лун и здесь увидел палатку и костер и около них какого-то индейца и белого человека.

Он не бросился к ним. Он даже не залаял и не завизжал; пережитые в пустыне тяжкие испытания уже научили его. Он стал тихонько подкрадываться к ним, затем остановился и лег на живот, но только не в круге света, отбрасываемого костром. Отсюда он увидел, что ни тот ни другой из незнакомцев не был похож на Чаллонера. Но оба курили так же, как курили и его хозяин. Он мог слышать их голоса, и они были похожи на голос Чаллонера. И самый привал был такой же: и костер, и висевший над ним котелок, и палатка, и самый воздух, содержащий в себе запах только что начавшей вариться еды.

Через две-три минуты он переступил линию огня. Но белый человек тотчас же вскочил с места, протянул руку совершенно так же, как протягивал ее и Чаллонер, и схватил деревянную палку толщиной в руку. Он подбежал к Мики на расстояние в десять футов, и Мики подполз было к нему и встал на ноги. Здесь он находился уже в полуосвещении. Глаза его вспыхнули от отразившегося в них огня. И человек увидел его.

Он быстро размахнулся над своей головой дубинкой, которую захватил с собою. Она пронизала воздух со страшной силой и полетела прямо на Мики. Если бы она попала прямо в него, то убила бы его наповал. Но толстый ее конец миновал его; она задела его своим тонким концом, угодив ему прямо в затылок и в плечо и отбросив его назад, уже в темноту, с такой силой и так быстро, что человеку показалось, будто он убил его. Он громко крикнул индейцу Макоки, что убил волчонка или лисицу, и утонул во мраке ночи.

Дубинка отшвырнула Мики прямо в самую чащу густой сосновой заросли. Здесь он лежал, не издавая ни малейшего звука, с невыносимой болью в плече. Он увидел, как между ним и костром человек наклонился и поднял дубинку. Он увидел также, что и Макоки, захватив с собою другую дубинку, поспешил к нему на помощь, и еще тише притаился в своей засаде. Ужас овладел всем его существом, потому что он понял настоящую правду. Среди этих людей не было Чаллонера. Они охотились на него с дубинками в руках. А он знал, что такое были дубинки. У него было почти сломано плечо.

Он лежал очень тихо, пока люди разыскивали его. Индеец даже пошарил своей дубинкой в чаще густой сосновой заросли. Белый человек настаивал на том, что он действительно подшиб зверя, и один раз так близко стоял от самого носа Мики, что почти коснулся его своим сапогом. Затем он пошел обратно к палатке и подбавил в костер хворосту, так что осветилось еще большее пространство, чем было раньше. У Мики похолодело под сердцем. Люди еще долго продолжали свои поиски, но совсем в другой стороне.

Почти целый час Мики не мог двинуться с места. Костер стал потухать. Старый индеец завернулся в одеяло и лег, а белый человек ушел к себе в палатку. Только теперь Мики отважился вылезти из своей засады. С разбитым плечом, прихрамывая на каждом шагу, он поспешил обратно к дороге, по которой шел сюда, полный надежд, всего только какой-нибудь час тому назад. Человеческий запах уже более не заставлял так радостно биться его сердце. Теперь он составлял для него угрозу. Предостережение. То, от чего он должен теперь уклоняться. Скорее он встретится теперь с глазу на глаз с выдрой или с совой, чем с белым человеком и с его дубинкой. С совами он смог бы еще поладить, но дубинка была, во всяком случае, во много раз сильнее его.

Была уже совсем глубокая ночь, когда он доковылял наконец до того дупла, в котором поймал зайчонка. Он влез в него и до самого рассвета все лизал свою рану. Ранним утром он вылез из дупла и доел остатки зайчонка.

После этого он отправился на северо-запад, где должен был находиться Нива. Теперь уже Мики более не колебался. Он опять хотел быть с Нивой. Ему хотелось потыкать его носом в бока, лизнуть его в морду, даже и в том случае, если бы от него все еще воняло до сих пор. Он соскучился по его хрюканью и по его дружеским, веселым взвизгиваньям; ему захотелось вдруг отправиться вместе с ним на охоту, пожрать с ним, а затем улечься с ним рядышком на солнце и поспать. Ведь Нива, в конце концов, составлял собою необходимую часть его жизни.

И он побежал к нему.

А Нива в это время безнадежно и с глубокой печалью оставил далеко за собой свои любимые места и тоже шел ему навстречу по тому же самому пути, разыскивая Мики и обнюхивая его следы.

Они встретились внизу, на небольшом открытом лужке, сплошь залитом солнцем. Никаких больших демонстраций не произошло. Они остановились и некоторое время смот-

рели один на другого, точно желая убедиться, они ли это на самом деле. Нива захрюкал. Мики завилял хвостом. Они обнюхались. Затем Нива взвизгнул, а Мики заскулил. Вышло так, точно они хотели сказать друг другу: «Здравствуй, Мики!» – «Здравствуй, Нива!»

А потом Нива лег на солнышке, а Мики растянулся рядом с ним. В самом деле, как все на этом свете просто! Все кажется разрозненным на отдельные части, но в конце концов всегда составляет одно целое. И сегодня их мир представлялся им обоим одним стройным гармоническим целым. Они опять были приятелями – и были счастливы. Баста!

Глава XI

Наступил месяц Восходящей Луны, как говорят индейцы, – глубокое, сонное лето во всей стране за Полярным кругом.

От Гудзонова залива и до Атабаски, от Горной страны и до конца Великого Барренсова леса, долины и тундры – все погрузилось в мир и забвение в солнечные дни и в звездные ночи «муку-савина», то есть, по-нашему, августа. Это был месяц плодящий, возвращающий, месяц, когда вся жизнь оживала после долгой спячки еще раз. Во всей этой пустынной местности, такой беспредельной, что она тянулась на тысячи миль с востока на запад и на столько же с севера на юг, – совершенно не было заметно человеческой жизни. Только на одних заимках Компании Гудзонова залива, то тут, то там попадавшихся иногда по безграничному пространству, собирались охотники и разведчики, с женами и детьми, чтобы наконец выспаться хорошенько, поделиться мыслями и позабавиться чем-нибудь в течение двух-трех недель за целый год, пока на дворе еще стоит тепло и пока не наступили еще контраст и трагедия грядущей зимы. Для всех этих людей лесов и тундр это был действительно «муку-савин» – великий день радости года; это были для них недели, в которые они уплачивали свои долги мехами, получали новые кредиты в факториях компании; недели, в которые они на каждом таком посту встречали настоящий праздник – пляски, игры в любовь, свадьбы и желание как можно больше и полнее наверстать то, что им предстояло потерять за многие дни голода и мрака, ожидавшие их впереди.

И вот на этот-то короткий срок все дикие звери и зверюшки и чувствуют себя полными хозяевами своей пустыни. Они уже больше не слышат запаха человека. На них не охотятся. Уже нигде не видно капканов, расставленных для их ног, и отравленной приманки, так соблазнительно разложенной по тем местам, через которые им приходится пробегать. На заводях и на озерах дикие птицы токовали и безбоязненно подзывали к себе своих птенцов, чтобы научить их, как надо пользоваться крыльями. Рысь свободно играла со своими котятами, совершенно не ощущая в воздухе угроз со стороны человека; лосиха открыто входила в холодную воду озера со своим теленком. Соболь и куница радостно бегали по крышам покинутых на время хижин и шалашей; бобр и выдра весело хлопотали и постукивали в мутных лужах хвостами; птицы распевали – и по всей пустыне разносились гомон и песнь природы, как будто бы Великая Сила только в первый раз захотела показать все значение природы. Родилось на свет новое поколение живых существ. Это было время юности с десятками и сотнями тысяч маленьких живых существ, родившихся у диких животных и птиц, игравших в свои самые первые игры, воспринимавших свои самые первые уроки и быстро подраставших навстречу угрозам и приговору их первой, приближавшейся к ним зимы. И Добрый Дух лесов, предвидя то, что должно было произойти, уже всего припас для них в достаточном количестве. Всего было много. Брусника, черника, можжевеловые ягоды и рябина уже поспевали. Ветви деревьев и кустарников обвисали от тяжести шишек и семенников. Трава была зелена и нежна от летних дождей. Клубни луковичных растений почти целиком вылезали из земли; в заводях и по берегам озер кишела масса еды, а над головой и под ногами всего было столько, точно безостановочно сыпалось на землю из рога изобилия.

В такой-то обстановке Нива и Мики наслаждались своим полным и безграничным благополучием. Они лежали в этот августовский полдень на нагретом солнцем выступе скалы, царившем над этой полной чудес долиной. Наевшись до отвала сладкой брусники, Нива заснул. Мики только жмурился, вглядываясь полузакрытыми глазами в легкую дымку, окутывавшую долину. До него доносилась снизу музыка от ручьев, бежавших между камней и через каменистые перекаты, а с нею вместе и мягкий, убаюкивающий летний шум от самой долины. Он как-то беспокойно заснул на полчаса, а затем открыл глаза и стряхнул с себя

дремоту. Острым взглядом он оглядел всю долину. Затем посмотрел на Ниву. А тот, жирный и ленивый, так и проспал бы без него до самой ночи. Теперь уж Мики приходилось его беспрестанно расталкивать. И вот Мики сердито два или три раза забрежал на него и дернул его за ухо.

– Да проснись же, наконец! – казалось, хотел он сказать. – Ну что за интерес дрыхнуть в такой чудесный день, как сегодня? Давай лучше спустимся к ручью и на что-нибудь поохотимся вместе!

Нива пробудился, вытянулся во все свое жирное тело и зевнул. Его сонные глазки тоже поглядели на равнину. Мики поднялся и издал низкий, беспокойный вой, что всегда означало для Нивы, что он хотел подвигаться. Нива ответил ему, и они стали спускаться вниз по зеленому откосу между двумя невысокими холмами.

Теперь уж каждому из них было почти по полгода, и по своим размерам они уже перестали быть медвежонком и щенком. Теперь уж это были медведь и собака. Угловатые формы Мики уже сгладились и приняли свой настоящий вид; его грудь развилась; шея вытянулась и уже не казалась такой непропорционально короткой сравнительно с величиной головы и челюстей, – и его тело увеличилось и в длину, и в обхват, и вся его фигура теперь была вдвое больше, чем у самой крупной обыкновенной собаки его возраста.

Нива потерял свою детскую шарообразность и неповоротливость, хотя еще больше, чем Мики, доказывал на себе, что он не зря провел эти полгода без матери. Но больше уж он не чувствовал той нежной любви к покою, которая наполняла его раннее детство. Кровь его породы уже начала сказываться в нем, и при встрече с врагами, во время борьбы, он уже не искал для себя безопасного местечка, а прямо выходил один на один, даже и в тех случаях, когда крайние последствия казались ему до ужаса неизбежными. Говоря проще, в нем, как и в большинстве медведей, стала развиваться охота к поединкам. Но если бы нашлось еще более подходящее определение, то оно могло бы с еще большим основанием быть применено и к Мики, этому верному сыну своих родителей. Он тоже был большим задирой. Оба еще молодые, они уже все были покрыты шрамами и рубцами, которыми могли бы гордиться под старость. Вороны и совы клювами и когтями, волки зубами, раки клешнями, – все они оставили на них свои следы, а у Мики на боку зияла плешь в восемь дюймов длины, оставленная ему на память волчицей. И теперь, когда Мики вел Ниву на новые приключения, медведь послушно следовал за ним, но уже с другим настроением, чем то, с каким он обыкновенно отправлялся промыслять для себя еду, которая всегда составляла для него главное в жизни. Это не значило вовсе, что Нива лишился своего аппетита. Он мог съесть в один день более, чем Мики в три, в особенности, если принять во внимание, что Мики ел два или три раза в день, тогда как Нива предпочитал кушать всего только один раз, но зато беспрерывно с рассвета и до ночи. Находясь в дороге, он всегда и не переставая что-нибудь жевал.

На целую четверть мили, в пространстве между двумя грядами холмов, где, картавя, по каменистому ложу стремился куда-то ручеек, тянулись заросли великолепнейшей во всей стране Шаматтава дикой черной смородины. Крупные, как вишни, черные, как чернила, и от спелости надувшиеся так, что чуть не лопались на них от наполнявшего их сладкого сока кожица, ягоды свешивались с кустов целыми гроздьями и в таком множестве, что Нива мог свободно срывать их с веток ртом и есть. Во всей этой дикой пустыне ничего не могло быть более интересного, чем эти почти перезрелые ягоды черной смородины, и это ущелье, в котором они в таком множестве произрастали, Нива уже заранее стал считать своею личною собственностью. Мики тоже уже научился есть ягоды. Кроме того, Мики привлекало это местечко еще и по другим соображениям: здесь было много молоденьких куропаток и кроликов с нежным мясом и вкусным запахом, которых он ловил так же легко, как и глупых кур. Были здесь также кроты и белки.

В этот день, едва только они принялись набивать себе рты сочными ягодами, как до них донесся безошибочный звук. Безошибочный потому, что они тотчас же узнали, кто его производил. В двадцати или тридцати ярдах выше их кто-то шумно пробирался сквозь смородинные кусты. Какой-то неизвестный похититель вторгся в их сокровищницу, и тотчас же Мики оскалил зубы, а Нива в злобном ворчании сморщил свой нос. Оба они подкрались на цыпочках к тому месту, откуда доносился этот звук, пока наконец не увидели себя на небольшом открытом пространстве, которое было так же плоско, как стол. В центре этого пространства росла группа смородинных кустов не более двух ярдов в обхвате, и почти сплошь черных от ягод. Перед ними, поднявшись на задние лапы и захватив в передние отягченные плодами ветки, стоял большой молодой медведь, раза в четыре больше, чем сам Нива.

В первый момент гнева и удивления Нива не принял во внимание эти размеры. Он испытывал приблизительно то же самое, что и человек, возвратившийся к себе домой и увидевший, что всем его имуществом распоряжается кто-то другой. К тому же в нем заговорила еще и амбиция, которую, как ему казалось, было легко удовлетворить, а именно – выбить спесь из представителя его же собственной породы. То же чувство, казалось, испытывал и Мики. При обыкновенных условиях он немедленно пустился бы в драку и прежде, чем Нива решился бы выступить сам, он уже подскочил бы к бессовестному браконьеру и вцепился бы ему в горло. Но сейчас что-то осаживало его назад, и Нива бросился на ничего не подозревавшего врага и, как молот, ударил его своим телом прямо по ребрам.

Полный удивления, со ртом, набитым ягодами, несчастный, почувствовав на себе силу удара Нивы, покатился, как туго набитый мешок. И прежде чем он смог что-нибудь сообразить, – а ягоды в это время потоком сыпались у него изо рта прямо на землю, – Нива схватил его за горло – и потеха началась. Сцепившись между собою всеми восемью ногами и стараясь действовать ими всю, оба дуэлянта катались по земле, сжимая друг друга в объятиях и стараясь задавить один другого, вертясь при этом, как две обезумевшие мельницы. Для Мики было почти невозможно понять, кто из них был в худшем положении – Нива или молодой незнакомец; по крайней мере с три или четыре минуты он находился в сомнении.

Затем он услышал голос Нивы. Он был чуть-чуть слышен, но Мики безошибочно угадал в нем звук тяжелой боли.

Тогда он подскочил к медведю и схватил его за ухо. Это была свирепая, ужасная хватка. Сам отец Нивы при подобных обстоятельствах громко завизжал бы от боли. И молодой медведь завыл в агонии во весь свой голос. Он забыл обо всем на свете, кроме ужаса и боли от этого нового для него существа, которое вцепилось ему в ухо, и воздух наполнился его отчаянными воплями. И Нива понял, что за него вступился Мики. Он высвободился из-под своего обидчика и сделал это как раз вовремя. Потому что снизу, как рассвирепевший бык, уже неслась на помощь к своему верзиле-сынку его мать. Нива успел увернуться от нее в сторону, как мячик, когда она со всего размаха на него замахнулась. Потеряв даром удар, старая медведица в крайнем возбуждении бросилась к своему вопившему от боли детенышу. Повиснув радостно на своей жертве, Мики позабыл о всякой опасности, пока медведица не принялась отдельно и за него. Он заметил ее только тогда, когда она опустила на него свою тяжелую, как деревянное бревно, переднюю лапу. Он увернулся; направленный на него удар пришелся как раз по башке ее же собственному сыну с такой силой, что это сбilo его с ног, и он, как футбольный мяч, отлетел на двадцать аршин в сторону и покатился вниз к ручью.

Мики не ожидал дальнейших результатов борьбы. Быстро, как стрела, он уже бежал вслед за Нивой через смородинную чащу вдоль ручья. Они вместе выбрались на равнину и добрые десять минут мчались без оглядки неведомо куда, боясь обернуться назад. А когда наконец они решились на это, то смородина от них была уже за тридевять земель. От усталости Нива высунул красный язык, и он болтался у него, как тряпка. Он весь был исцарапан и измазан кровью; вырванная шерсть клочьями висела по всему телу. Когда он посмотрел

на Мики, то по грустному выражению его глаз собака заметила нечто, что могло бы быть принято за сознание Нивой своего полного поражения.

Глава XII

После описанной выше потасовки более не могло быть и мысли о том, чтобы Нива и Мики вновь возвратились в свой потерянный рай, в котором так соблазнительно росла черная смородина. От самого носа и до кончика своего хвоста Мики был искателем приключений и, подобно своим бродягам-предкам, чувствовал себя счастливее всего только тогда, когда передвигался с одного места на другое. Пустыня опять потребовала его к себе, овладела его телом и душой, и очень возможно, что и он, при создавшихся условиях его жизни, так же бы стал избегать теперь человеческих жилищ, как избегал их и Нива. Но и в жизни животных так же, как и в жизни людей, природа проделывает свои шутки и проказы.

После шести великолепных солнечных недель истекшего лета и ранней осени и вплоть до сентября Мики и Нива все время держали путь на запад, к той точке, где каждый вечер заходило солнце. Многое они увидели в той стране, через которую проходили. Это был край в сотни миль в окружности, который искусная мать-природа еще искони превратила в настоящее царство самой нетронутой дикости. Они прошли мимо колоний бобров, расположенных в темных, молчаливых местах; они видели, как играла выдра; они так часто сталкивались в пути с лосями и оленями, что уже перестали их бояться и избегать, а шли прямо в открытую по лугам или по краям тундр, на которых находили для себя пропитание. Именно здесь Мики постиг ту великую премудрость, что когти и клыки даны им для того, чтобы с помощью их нападать на парнокопытных и рогатых; волков было множество, и несколько раз они сами чуть было не попались им под когти и клыки и еще чаще слышали доносившийся до них дикий язык их массового воя. После опыта с волчицей Мики уже больше не желал к ним присоединяться. Теперь и сам Нива более не настаивал на том, чтобы останавливаться надолго около еды, которую им удавалось находить. В нем уже начиналось, как говорят индейцы, «кваска-хао» – инстинктивное предчувствие Великой Перемены.

С самого начала октября Мики стал замечать, что с его приятелем стало происходить что-то странное. С каждым днем Нива становился все беспокойнее и беспокойнее, и эта его тревога достигла в нем высшего своего напряжения, когда начались ночные холода и осень тяжелым дыханием стала сковывать воздух. Теперь уже Нива вел Мики куда-то в необозримые пространства, и казалось, что он все время что-то разыскивал по пути, что-то таинственное, чего Мики не мог ни видеть, ни обонять. Теперь уж он не просыпал целые часы подряд. С половины октября он почти не спал совсем, а все шел и шел вперед, днем и ночью, и все ел, ел и ел да принимался к ветру, стараясь обнаружить в нем что-то неуловимое, что природа настойчиво приказывала ему искать и найти. Он то и дело, ни на минуту не переставая, засовывал свой нос то под свалившиеся от бурь стволы старых деревьев, то в углубления между камней, и все время Мики был около него, готовый броситься в сражение и биться в нем до последней капли крови именно с тем животным или с той вещью, которые Нива так настойчиво отыскивал. И казалось, что он не найдет их никогда.

Затем Нива вдруг круто повернул назад, к востоку, влекомый инстинктом своих праотцов, назад, к стране своей матери Нузак и своего отца Суминитика. И Мики опять покорно за ним последовал. Ночи становились все более холодными. Звезды казались ушедшими еще выше, и восходившая луна уже более не бывала красной. В крике филина уже слышались тоскливые ноты, ноты жалобы и печали. В своих землянках и шалашах, кое-где попадавшихся в глуши лесов, люди уже вдыхали в себя каждое утро морозный воздух, пропитывали свои пожитки рыбьим и бобровым жиром, заготавливали себе зимнюю обувь и налаживали сани и лыжи, потому что крик филина говорил им, что зима уже близко и надвигается с севера. И на болотах умолкла жизнь. Лосихи уже не сзывали более вокруг себя своих телят. Вместо них на открытых полянах и выжженных местах стали уже появляться лоси-самцы,

и стали слышаться во время звездных ночей смертоносные удары их рогов о рога. Волк уже не выл больше, и нельзя было слышать его голоса. В шагах бродячих животных слышалась какая-то чуткая, вкрадчивая осторожность. Во всех лесах вновь стала проливаться кровь.

А затем – ноябрь.

Вероятно, Мики никогда не забудет того дня, когда стал впервые падать снег. Сперва он думал, что это стряхивали с себя перья все крылатые существа со всего света. Затем почувствовал что-то нежное и мягкое под своими ногами, что-то холодное. Ему показалось, что будто бы в его кровь влилось сразу что-то острое, похожее на какой-то новый для него огонь, пронизавший все его тело; странная радостная дрожь – то наслаждение, которое разливается по жилам у волка, когда наступает сразу зима.

На Ниву все это производило совсем иное впечатление, настолько иное, что даже Мики чувствовал испытываемое им угнетение и смутно видел, что его друг стал выполнять какие-то странные и непостижимые действия. Он стал пожирать все, до чего раньше и не прикасался. Он собирал в кучки сухие сосновые иголки и съедал их. Он ел высохшие, мягкие гнилушки от дерева. А затем он влез в большую расщелину, образовавшуюся в самом сердце скалистого кряжа, и там наконец нашел то, что так долго и так мучительно искал. Это была берлога, глубокая, теплая и темная. Берлога его матери Нузак. Странными путями работает природа! Она дает птицам такое зрение, каким не обладает человек, и снабдила всех земнородных инстинктом, о котором даже и понятия не имеют люди. Ибо Нива возвратился для своего первого долгого сна в то самое место, где родился, и в ту самую берлогу, в которой его мать произвела его на свет. И там заснул.

Его ложе оставалось все таким же, как и было: мягкая перина из мелкого песка с одеялом из скатанной шерсти Нузак; только вот самый запах от его матери уже выдохся. Нива улегся в свое родимое гнездо и в последний раз ласково похрюкал Мики. Было похоже на то, будто он чувствовал на себе прикосновение чьей-то руки, нежной, но неумолимой, от которого он не мог отказаться и которому должен был повиноваться во что бы то ни стало. И он в последний раз поглядел на Мики так, точно хотел ему сказать: «Покойной ночи!» В эту ночь – по-индейски «пипу-кестин» – пронесся первой зимний ураган, ринувшийся с севера, точно лавина. С ним вместе примчался ветер, заревевший, как тысяча быков, и все живое в этой дикой местности притихло и притаилось. Даже в глубине берлоги Мики слышал его вопли и завывания и чуял, как сухой снег стегал, точно плетью, по входу в пещеру, через который они сюда прошли, и тесно прижался к Ниве, довольный тем, что они нашли здесь для себя уют.

А когда настал день, то он взобрался на самую вершину скалы и в крайнем удивлении, не издав ни малейшего звука, уставился на открывшийся перед ним мир, который был теперь совсем другим, чем он оставил его вчера. Все было белое – яркое, ослепительно-белое. Солнце уже встало. От его лучей в глаза Мики прыснули тысячи острых, как мелкие иголки, отливавших радугой искр. Насколько мог видеть его глаз, вся земля казалась покрытой ковром, затканым алмазами. Блеск солнца отражался и от деревьев, и от скалы, и от кустарников, он играл на маковках сосен, опустивших ветви под тяжестью снега; вся долина была точно море, настолько яркое и блестящее, что не успевшие еще застыть речки текли через него темными полосами. Никогда еще в жизни Мики не видел такого великолепного дня. Никогда еще его сердце не билось так сильно при виде солнца, как билось теперь, и никогда еще в его крови не разливалось более дикого торжества, чем он испытывал в эти минуты.

Он заскулил и побежал обратно к Ниве. Он залаял в глубине берлоги и стал тыкать своего приятеля носом в бок. Нива сонно захрюкал. Он потянулся, поднял на секунду голову и опять свернулся шаром и заснул. Напрасно Мики старался внушить ему, что был уже день и что пора было уже отправляться в дорогу. Нива ничего не ответил даже и тогда, когда Мики направился к выходу из берлоги и остановился наконец, чтобы посмотреть, последует он за

ним или нет. Тогда, полный разочарования, он вышел опять на снег. Целый час он не двигался далее десяти шагов от пещеры. Три раза он возвращался к Ниве и старался побудить его встать и выйти вон, где было так светло. Берлога находилась в самой глубине пещеры, и там было темно и казалось, что Мики хотел во что бы то ни стало убедить Ниву в том, что он глуп, если думает, что все еще продолжается ночь и что солнце еще не всходило. Но он заблуждался. Нива находился уже в преддверии того долгого сна, которым начинается, как говорят индейцы, «уске-нау-э-мью», то есть зимняя спячка медведей, похожая на смерть.

Досада, желание почти вонзить свои зубы в ухо Ниве скоро уступили в Мики свое место совсем другому чувству. Инстинкт, который заменяет у зверей человеческий рассудок, заговорил в нем странным и тревожным языком. Мики все более и более стал испытывать какое-то волнение. В этом его беспокойстве было даже что-то мучительное, когда он остановился вдруг при самом выходе из пещеры. В последний раз он вернулся к Ниве и затем один помчался по равнине.

Он был голоден, но в этот первый день после снежной бури он едва ли смог бы найти себе что-нибудь поесть. Белоснежные кролики забились к себе под валежник или спрятались в норки и лежали в своих теплых гнездах. В продолжение этих долгих часов бури ни одно живое существо не рискнуло выйти на воздух. Мики не находил для своей охоты никаких следов на снегу, а в некоторых местах даже сам угрузал по самые плечи в рыхлый снеговой покров. Он отправился к ручью. Но это уже не был тот ручей, который когда-то, когда он был еще щенком и стоял здесь вместе с Чаллонером, был ему так знаком. Он был уже по краям затянут льдом. В нем было теперь что-то мрачное и задумчивое. Производимый им звук уже не походил на прежнее журчание и на хвалу в честь леса и золотой весны. В теперешнем его монотонном рокотанье слышались уже угрозы – новый голос, как будто бы какой-то нечистый дух взял его в свое владение и старался убедить его, что времена уже переменялись и что новые законы природы и новые ее силы предъявили свои права на те места, по которым он тек.

Мики осторожно поплакал из него воды. Она была холодна, холодна как лед. И медленно, но непреклонно в нем стало создаваться убеждение, что в красоте этого нового для него мира было что-то такое, что говорило ему, что тепла уже больше не будет и что прекратилось уже биение того сердца природы, которое составляло собою жизнь. Он был теперь один.

ОДИН!

Все кругом исчезло под снегом; все кругом казалось умершим. Он опять отправился к Ниве, прижался к нему и весь день пролежал рядом с ним. И всю следующую ночь он не выходил вовсе из берлоги. Он выглянул только не далее входа в пещеру и увидел небесные пространства, сплошь усеянные звездами, и луну, поднявшуюся на небо в виде белого, холодного солнца. Но и звезды, и эта луна уже не показались ему такими, какими были прежде. От них веяло холодом и тишиной. И от земли под ними тоже отдавало мертвенной белизной и молчанием могилы.

На заре он вновь попытался разбудить Ниву. Но на этот раз он уже не был так настойчив, да и не имел вовсе желания дергать его за ухо. Что-то случилось, а что именно – он никак не мог этого понять. Он чувствовал это что-то, но никак не мог его себе усвоить. И его вдруг обуяла какая-то странная, полная предчувствия боязнь.

Он опять отправился на охоту. Обрадовавшись ясному свету луны и звезд, кролики устроили в истекшую ночь целый карнавал, и у опушки леса Мики мог видеть плотно утоптаные ими на снегу места. В это утро он без всякого труда мог добыть себе еды, сколько было угодно. Он загрыз сперва одного кролика и справил над ним тризну. Потом загрыз другого, третьего, и так мог бы истреблять их без конца, так как благодаря тому, что на снегу виднелись теперь их следы, самые их норки являлись для них ловушками. К Мики возвра-

тилась его прежняя бодрость духа. Опять загорелась в нем радость жизни. Никогда еще он не знал такой охоты и никогда не встречал такого обилия дичи, даже в том ущелье, где росла черная смородина. Он ел до тех пор, пока сам не стал уже отворачиваться от еды, а затем опять возвратился к Ниве, принес с собой в зубах удушенного им кролика. Он положил его к самому носу своего друга и заскулил. Но и теперь Нива ничего ему не ответил, а только глубоко вздохнул и немного изменил свое положение.

В полдень, в первый раз за столько времени, Нива поднялся на ноги, потянулся и понюхалдохлого кролика. Но не ел его. К испугу Мики, он снова свернулся шаром в своем гнезде и снова заснул. На следующий день, почти в это же самое время, Нива поднялся еще раз. Теперь уж он сделал прогулку до самого устья пещеры, зачерпнул пригоршнями снега и поел его. Но от кролика опять отказался. Затем он вернулся обратно и заснул опять. После этого он уж больше не просыпался.

Дни последовали за днями, и по мере того, как входила в свои права зима, они становились все короче и утрюнее. Мики охотился теперь уж в одиночестве. И все-таки весь ноябрь он каждую ночь возвращался обратно и спал рядом с Нивой. А Нива лежал точно мертвый, хотя тело у него было теплое и он дышал и кое-когда слегка ворчал во сне. Но это все-таки не уменьшало тех неудержимых стремлений, которые все более и более, точно в тисках, сжимали душу Мики, а именно – всепоглощающего желания иметь общество себе подобного спутника в своих скитаниях. Он любил Ниву. Все первые долгие недели начавшейся зимы он оставался ему верен, возвращался к нему и приносил ему еду. Он испытывал какую-то страшную тоску – еще большую, чем если бы даже Нива умер. Ибо он знал, что Нива жив, и никак не мог дать себе отчета в том, что именно с ним произошло. Смерть он понял бы хорошо, и если бы это действительно была смерть, то он инстинктивно от нее убежал бы. В одну из ночей случилось так, что, когда Мики, увлекшись охотой, слишком далеко ушел от берлоги, ему в первый раз пришлось ночевать под валежником одному. А после этого ему уже трудно было отделаться от звавшего его голоса. И вторую и третью ночь он уходил далеко; а затем наступил момент, такой же неизбежный, как и восход и заход луны и звезд, когда осенившее его вдруг понимание подчинило себе все его опасения, страхи и надежды; что-то подсказало ему, что Нива уже никогда больше не будет сопровождать его в его скитаниях, как это было в те счастливые дни, когда они бок о бок смотрели на разворачивавшиеся перед ними комедии и трагедии жизни; теперь вся вселенная уже долго не будет одета в мягкую листву и покрыта согретой золотым солнцем травой, а все будет оставаться в ней белым, безмолвным и осужденным на смерть.

Нива так и не почувствовал, когда Мики ушел из его берлоги в последний раз. А может быть, какой-нибудь благодетельный дух и шепнул ему в сонное ухо, что Мики ушел уже совсем, потому что много дней после этого его ухода зимнюю спячку Нивы тревожили беспокойство и недовольство, что Мики уже нет.

«Будь покоен и спи! – вероятно, прошептал ему благодетельный дух. – Зима еще долга. Реки почернели и стали холодны, озера покрылись льдом, и водопады замерзли и стали походить на белых великанов. Спи! Мики должен идти своей дорогой, как вода в реке должна бежать к океану. Потому что он – собака. А ты – ты медведь. Спи же спокойно!»

Глава XIII

Давно уж на всем Севере не было такой снежной бури, как та, которая вдруг нагрянула вслед за первым выпавшим снегом, загнавшем Ниву в берлогу. Долго еще будут помнить во всех тех местах эту ноябрьскую метель под именем «кускета-пипуна», то есть черного года, полного великих и неожиданных холодов, голодовок и смертей.

Налетела она как раз через неделю после того, как Мики покинул берлогу, в которой так крепко заснул Нива. Но до ее наступления все лесное царство мирно покоилось под снежным покровом, день за днем светило яркое солнце, и луна и звезды были ясны и чисты, как золотые огоньки, зажигающиеся в ночных небесах. Ветер все время дул с запада. Полярных зайцев было такое множество, что местами снег, утоптаный ими, твердыми пластами лежал на болотах и в тех местах, где выступала поросль. Много было оленей и лосей, а ранний вой волков, собиравшихся на добычу, уже звучал призывной музыкой в ушах тысяч охотников, уже выходивших в лесные просторы на промыслы.

И тут-то с удивительной внезапностью и налетело неожиданное. Никакого предупреждения не было. Когда занялся день, то небо было чисто и вслед за безоблачным рассветом взошло яркое солнце. А потом вдруг все сразу потемнело и до такой степени быстро, что пробиравшиеся по следам звероловы вдруг сразу же в изумлении остановились. Вместе с надвигавшейся мглой нарастал и какой-то странный гул, и в этом гуле, казалось, было что-то похожее на бой гигантского барабана, выбивавшего четкую дробь, говорившую о надвигавшейся беде. То был неожиданный среди зимы гром. Но предупреждение это оказалось уже запоздалым, так как еще раньше, чем люди смогли бы укрыться в безопасных местах или наскоро устроить себе хоть какие-нибудь шалаши, великая буря уже обрушилась на них. Она ревела, как разъяренный бык, в течение трех дней и трех ночей. На открытых местах не могло устоять на ногах ни одно живое существо. Деревья в лесах были переломаны сплошь, все на земле оказалось всклокоченным. Все живое забилося куда-нибудь поглубже или умерло; накопившийся в ложбинах и в горах снег сделался твердым, как свинец, и вызвал сильнейший холод.

На третий день в области между Шаматтавой и Джексоновым Коленом температура спустилась до шестидесяти градусов ниже нуля. Только лишь на четвертый день живые существа осмелились наконец показать признаки жизни. Постепенно из-под толстого слоя снега, служившего им защитой, начали выбираться лоси и олени, из-под глубоких сугробов стали откапываться мелкие животные; а половина зайцев и птиц погибла. Но самая ужасная судьба постигла людей. Многие из тех, кого захватила метель в пути, кое-как еще уцелели и с грехом пополам добрались до крова. Но еще большому количеству так и не удалось никуда приткнуться: между Гудзоновым заливом и Атабаской в те страшные три дня «кускета-пипуна» погибло и пропало без вести свыше пятисот человек.

В начале великой бури Мики находился около Джексонова Колена, и инстинкт подсказал ему, что как можно скорее надо пробраться в самую глушь дремучего леса. Здесь он забился под валежник, образовавшийся из вывороченных с корнем деревьев и обломанных вершин, и целых три дня просидел здесь без движения. Тут-то, в самом центре разыгравшейся непогоды, его и охватило безумное желание вернуться в берлогу к Ниве и тесно к нему прижаться, хотя Нива и лежал как мертвый. В его памяти вставали такие яркие воспоминания об их странной дружбе, совместных скитаниях по лесам и по долам, об их радостях и скорбях в те дни и месяцы, когда они, точно два брата, вместе и боролись друг с другом, и пировали! И в то время как он об этом грезил, сидя в своем темном углублении под буреломом, его все больше и больше засыпало снегом.

Ему снился Чаллонер, его бывший хозяин, в те счастливые, веселые дни, когда он был еще маленьким щеночком, снился Нива, когда его лишили матери и осиротелым принесли тогда к озеру на стоянку, и все то, что они потом пережили вместе; снилось ему также и то, как он потерял потом хозяина и как странны и полны волнений были их приключения в лесу; и еще он видел, как Нива запрятался в берлогу и в ней заснул. Этого уж он никак не мог объяснить себе даже в грезах. Пробуждаясь и прислушиваясь к буре, он недоумевал, почему именно Нива как-то сразу вдруг перестал ходить вместе с ним на охоту, а вместо этого свернулся шариком и заснул так крепко, что Мики никак не мог его разбудить. И в течение долгих часов этих трех суток бури голод подтачивал его жизненные силы все-таки больше, чем сознание одиночества. И когда наутро четвертого дня он выбрался наконец из своей засады, то его ребра уже выдавались наружу, а глаза подернулись красноватой пленкой. Он поглядел на юг, потом на восток и заскулил. В этот день он прошел целые десять миль, утопая по самый живот в снегу, до того места, где покоился в берлоге Нива. На этот раз солнце уже горело ослепительным огненным шаром. Оно было так ярко, что от блеска снега кололо ему глаза, а красноватая пленка на них сделалась еще краснее. Но к тому времени, как он стал приближаться к концу своего пути, на западе уже догорала одна только холодная, оранжевая полоса. Когда же он наконец добрался до того самого места, где Нива нашел для себя берлогу, то над вершинами деревьев стали уже сгущаться сумерки. Но никакой берлоги там уже не оказалось. Все было покрыто чудовищным снежным заносом. Все овраги, скалы и кусты были засыпаны под один общий уровень. В том месте, куда должно было выходить устье пещеры, находился только громадный сугроб в десять футов толщиной.

Озябший и голодный, похудевший после долгих дней и ночей, когда ничего не пришлось поесть, потеряв последнюю надежду на то, чтобы повидать друга, которого погребли под собою безжалостные снежные громады, Мики повернул назад и побрел по своему же собственному следу. Ему теперь не оставалось больше ничего другого, как только искать свое же прежнее логовище под буреломом, и он уже не чувствовал и в себе самом того веселого друга и брата, каким он был до сих пор для медведя Нивы. Ноги у него болели и кровоточили. Но он все-таки шел. Показались звезды. При их бледном свете ночь казалась жутко белой; было холодно, невероятно холодно. Стали трещать деревья. Время от времени раздавались звуки, похожие на револьверные выстрелы. Это мороз впивался в самую сердцевину леса. Теперь было уже тридцать градусов ниже нуля, но с каждой минутой становилось все холоднее. Единственной целью Мики было поскорее добраться до своего логовища. Никогда еще раньше его сила и выносливость не подвергались такому тяжелому испытанию. Более старые собаки на его месте уже давно свалились бы на дороге или приткнулись бы где-нибудь поблизости, чтобы отдохнуть. Но Мики был подлинным сыном гиганта Гелы из макензийской породы. Он продолжал идти вперед настойчиво – до смерти или до победного конца.

Но произошла вдруг странная вещь. Он прошел двадцать миль от своего логовища до берлоги и пятнадцать из двадцати по обратному пути, как вдруг под его ногами провалился снег и он внезапно свалился куда-то вниз. Собравшись с усталыми мыслями и поднявшись на окоченевшие ноги, он увидел, что попал в какое-то довольно странное место. Он свалился в какую-то яму, воронкообразной формы, края которой были обложены прутьями. В ноздри ему вдруг ударил запах мяса. И действительно, он натолкнулся там на мясо, находившееся от его носа на расстоянии всего только какого-нибудь одного фута. Это был кусок оленины, насаженный на вбитый в землю кол. Не задаваясь вопросом, откуда он тут появился, Мики жадно вцепился в него зубами. Объяснить это приключение мог один только Жак Лебо, живший в восьми или десяти милях от этого места к востоку. Мики провалился в одну из расставленных им ловушек, а то, что он ел в ней, было положено туда для приманки.

Мяса было немного, но оно зажгло у Мики кровь новой жизнью. В его ноздрях еще стоял запах съестного, и он стал разгребать лапами снег. Скоро его когти задели вдруг за что-то твердое и холодное. То была сталь – еще один капкан для более мелких животных. Мики удалось наконец вытащить его из-под снега, и в нем оказался давно поймавшийся в него огромный полярный заяц. Снег так хорошо сохранил его, что он даже и не одеревенел, хотя, видимо, околел уже несколько дней тому назад. Пир Мики кончился только лишь с последней косточкой. Он съел даже и голову от зайца. Покончив с ней, он выскочил из западни, добрался до своего логова и до следующего утра сладко проспал в своем теплом убежище.

В тот же день Жак Лебо, которого индейцы за его бессердечие с животными прозвали «человеком со злым сердцем» (Мушет-Ша-Ао), обошел все свои капканы и ловушки, перестроил разрушенные бурей западни и расставил новые.

А когда наступил вечер, то Мики снова вышел на охоту и вдруг натолкнулся на его след, оставленный им на занесенном снегом болоте, в нескольких милях от своего логова. Но душа Мики в этот момент уже не волновалась больше тоскою по хозяину. Он подозрительно обнюхал следы, оставленные лыжами Лебо, и его спина вдруг оцетинилась, когда он стал ловить ноздрями ветер и прислушиваться. Он осторожно пошел по следу и через несколько сот ярдов натолкнулся вдруг на один из капканов Лебо. Здесь опять нашлось мясо, приколотое на колышке. Мики дотронулся до него. Из-под его передней лапы вдруг послышался коварный треск, и сомкнувшиеся неожиданно стальные челюсти западни бросили ему прямо в глаза целые комья снега и маскировавшую западню кучу хвороста. Он заворчал, отпрыгнул и несколько времени прождал, уставившись глазами на капкан. Затем он стал вытягивать шею до тех пор, пока наконец не смог добраться до мяса, но при этом не сделал ни единого шага вперед. Таким образом ему удалось понять, в чем состояла вся хитрость устройства стальных челюстей капкана, а инстинкт подсказал ему, как надлежало ему избежать их и впредь.

Он прошел по следам Лебо еще с треть мили. Смутно предчувствуя угрозу еще новой опасности, он тем не менее не сворачивал с проложенного следа. Какой-то могучий импульс, которому он был не в силах сопротивляться, влек его все дальше и дальше. Он достиг второй западни и на этот раз стянул мясо с колышка, даже не приводя в действие пружину, которая, как он теперь отлично знал, скрывалась тут же. Ему ужасно хотелось хоть одним глазком взглянуть на человека. Но спешить все-таки было некуда, и пока что он стянул мясо еще из третьего, четвертого и пятого капканов.

Затем, когда окончился день, он повернулся к западу и быстро покрыл все пять миль, отделявшие его от логова.

Через полчаса по следу, оставленному им вдоль капканов, прошелся и сам Лебо. Подойдя к первому пустому капкану, он увидел около него следы, оставленные Мики.

– Черт возьми, волк! – воскликнул он. – Да притом еще и среди белого дня!

Вслед за тем по его лицу медленно пробежало выражение удивления. Он опустился на колени и стал внимательно осматривать эти следы.

– Нет! – проговорил он, задыхаясь. – Это собака! Проклятая дикая собака обкрадывает мои капканы!

Он поднялся на ноги и разразился ругательством. Затем вынул из кармана маленькую оловянную коробочку и достал из нее шарик, скатанный из сала. В него был положен стрихнин. То была приманка с ядом, специально заготовленная для волков и лисиц.

Предвкушая, как он отравит вора, Лебо засмеялся и прикрепил сало с ядом к колышку.

– Достанется же тебе на орехи, проклятая собака! – проворчал он. – Я тебя проучу. Завтра же околеешь!

И у каждой из обкраденных ловушек он поместил по заманчивому кусочку сала.

Глава XIV

На следующее утро Мики опять выступил на осмотр всей линии расставленных ловушек. В сущности, его привлекало не то, что он мог так легко добыть себе из них пищу. Ему было бы гораздо приятнее поохотиться на живую дичь самому. Его, точно магнитом, притягивал к себе след человеческих ног со своим запахом человека. И в тех местах, где этот запах был особенно силен, ему так и хотелось лечь прямо на снег и подождать. И тем не менее наряду с этим смутным желанием в Мики пробуждались и страх и сознание необходимости быть особенно осторожным. Он не задержался ни у первого, ни у второго капкана. Но, помещая свою приманку в третий капкан, Лебо почему-то очень долго провозился с ней, и комок жира с отравой вследствие этого сильно стал отдавать запахом от его рук. Лисица, наверное, сейчас же отвернулась бы от него. Однако Мики все-таки стащил его с колышка и бросил его на землю между передними лапами. Вслед за тем он огляделся по сторонам и стал прислушиваться в течение целой минуты. Далее он лизнул сало языком. Запах от рук Лебо помешал ему проглотить это сало сразу, как он сделал это с мясом оленя. И он стал подозрительно переваливать отравленную пилюлю между зубов. Сало имело приятный, сладковатый вкус. Мики совсем было уже приготовился проглотить его, как вдруг обнаружил в нем другой, уже менее приятный вкус. Тут он выплюнул решительно все, что было у него во рту. Но едкое, жгучее действие яда продолжало терзать ему язык и полость рта. Ожог стал забираться все глубже и глубже. Мики набрал полную пасть снегу и стал глотать его, чтобы хоть скольконибудь уничтожить жгучее ощущение, которое ползло все дальше и глубже, как бы подбираясь к самому существу его жизни.

Если бы он съел сальный комочек так, как съедал до этого все другие приманки, то через какой-нибудь час его не было бы уже в живых, и Лебо не пришлось бы далеко ходить, чтобы найти его труп. Однако и проглоченного яда было достаточно, чтобы уже и через четверть часа Мики почувствовал дурноту. Сознание беды заставило его покинуть человеческий след и поскорее направиться обратно к себе в логово. Но ему удалось пройти всего лишь несколько шагов, как он вдруг почувствовал, что силы стали оставлять его, и ноги у него подкосились. Он упал. Его охватила дрожь. Каждый мускул его тела дрожал так, точно отдельно бился в лихорадке. Зубы стучали. Зрачки расширились, и Мики почувствовал, что не может даже пошевелиться. А затем – словно какая-то невидимая рука сдавила ему горло. Задняя часть шеи вдруг как-то сразу онемела, и дыхание стало с хрипом вырываться сквозь горло. Он задыхался. Затем, точно огненная волна, оцепенение разлилось по всему его телу. Там, где только за минуту перед этим дрожали и трепетали мускулы, теперь вытянулись окоченевшие и застывшие члены. Безжалостная хватка яда проникла в самые центры его головного мозга и заставила его откинуть голову назад и уставиться пастью прямо в небо. Но он не издал ни единого звука. Некоторое время каждый нерв в его теле был напряжен в агонии смерти.

Затем вдруг сразу наступила перемена. Произошло это так, точно во всем теле Мики вдруг лопнула струна. Ужасная хватка отпустила заднюю сторону шеи, оцепенение растворилось в потоке потрясающего озноба, и через мгновение он уже весь корчился в безумных конвульсиях и взрывал вокруг себя снег. Спазмы длились с минуту. Когда наконец они прекратились, то Мики едва дышал. Из его пасти текли на снег целые потоки липкой тягучей слюны. Он все еще жил. Смерть промахнулась всего только на волосок, и, еще немного спустя, он уже поднялся на ноги и, пошатываясь, медленно побрел назад к своему жилищу.

Теперь Жак Лебо уже мог сколько угодно расставлять на его пути хоть тысячи шариков с отравой. Мики все равно их больше уже не тронет. Теперь уж никогда больше он не притронется и к мясу в капканах.

Два дня спустя Лебо обнаружил то место, где у Мики происходила его схватка со смертью, и сердце его забилося от злости и разочарования. Он отправился по следам собаки. В полдень, добравшись до вытоптанной Мики тропинки в лес, он подошел наконец к самому его логову. Опустившись на колени, он заглянул под сучья и корни в темную глубину, но не увидел там ничего. Но Мики, все время державшийся настороже и находившийся там, со своей стороны увидел человека. Ему вспомнилось то загоревшее, обросшее волосами существо, которое как-то, уже давным-давно, еще летом, чуть не убило его брошенной дубинкой и стало потом разыскивать его вместе с индейцем Макоки, когда он спрятался от них в кусты. И теперь, в эту самую минуту, когда Лебо заглянул к нему в нору, его сердцем овладело вдруг глубокое разочарование, ибо где-то там, в его воспоминаниях, все еще теплилась память о Чаллонере – том хозяине, которого он когда-то любил и так неожиданно вдруг потерял. Но не Чаллонера нашел он, напав на этот запах человека.

Лебо услышал его рычание, и кровь охотника взыграла в нем, когда он поднялся на ноги. Подлезть туда и дотянуться до собаки было невозможно, а выманить ее оттуда – еще того менее. Но у Лебо оставался для этого еще один способ. Это – способ огня.

Забившись в самую глубину своей засады, Мики все же услышал, как снег вновь захрустел под ногами у Лебо. А затем через несколько минут он вновь увидел, что человек-зверь снова возвратился и стал заглядывать к нему в нору.

– А ну-ка, иди сюда! – стал звать он к себе собаку, как бы стараясь ее подразнить.

Мики опять заворчал.

Жак Лебо был удовлетворен. Нагромоздившиеся ветви и корни, составлявшие крышу и стенки логова, были не больше тридцати – сорока футов в диаметре, и кругом во всем лесу больше не было никаких кустарников. Пространство между стволами деревьев было совершенно свободно. Никакая дикая собака не смогла бы здесь избежать пули из ружья Лебо.

С трех сторон логово всецело было погребено под глубоким снегом. Вход открывался только с той стороны, куда Мики протоптал свою тропинку. Став так, чтобы ветер дул ему в спину, Лебо сделал костер из березовой коры и сухого хвороста и зажег его перед буреломом. Прогнившие стволы и высохшие верхушки, свалившиеся с деревьев, вспыхнули как смола, и через несколько минут огонь уже затрещал и загудел таким могучим ревом, что Мики долго не мог понять, в чем было дело. Некоторое время, однако, дым еще не доходил до него. С винтовкой наготове, Лебо ни на минуту не спускал глаз с того места, откуда должна была выскочить наконец дикая собака.

Удушливая струя дыма вдруг наполнила ноздри Мики, а тонкое белое облако легкой дымкой заволокло вход к нему в логово. Тонкая, как змея, струйка стала проникать к нему внутрь через отверстие между двумя пнями на расстоянии всего только каких-нибудь десяти дюймов от носа Мики. Станный рев все продолжался и становился все более и более угрожающим. И тут Мики впервые пришлось увидеть сквозь переплетававшиеся между собою и изломанные ветки небольшие желтые язычки. Огонь легко пробивался к нему сквозь груды сухого, нагроможденного сосняка. Еще десять минут – и пламя высоко взметнулось в воздух. Лебо взял винтовку на прицел.

Охваченный ужасом перед огненной опасностью, Мики, однако, ни на одну секунду не забывал о присутствии Лебо. Благодаря инстинкту, вдруг обострившемуся в нем до чисто лисьей хитрости, он сразу сообразил всю правду положения. Это человек-зверь напустил на него какого-то нового для него врага и здесь же, у самого входа в его логово, поджидал его и сам! И вот Мики, как лисица, сделал как раз именно то самое, чего меньше всего ожидал Лебо. Он быстро прополз сквозь перепутанные ветки как раз в противоположную сторону от Лебо, к снежному завалу, и стал сверлить сквозь него для себя выход почти с такою же скоростью, как это сделала бы и лисица. Он прогрыз острыми зубами полудюймовую кору

наста и через какое-нибудь одно мгновение был уже на открытом месте, оставив ярко пылавший костер между собою и Лебо.

Все сучья, бревна и хворост, составлявшие собою логово, теперь уже представляли одну сплошную пылавшую печь. Лебо отбежал на несколько шагов назад, чтобы посмотреть, что происходило по другую сторону этого грандиозного костра. И на расстоянии всего каких-нибудь ста ярдов от себя он увидел Мики, который убегал от него в глубь леса.

Прицел был взят самый верный. Лебо мог бы побиться об заклад на что угодно, что не промахнулся бы ни за что. Но он не торопился. Всего только один выстрел – и все будет кончено. Он взвел курок. Но в это самое время громадный клуб дыма неожиданно пыхнул ему прямо в лицо, вьелся ему в глаза, и пущенная им пуля пролетела на три дюйма выше головы Мики. Жужжавший полет пули был новым, незнакомым явлением для Мики. Но он все-таки отлично запомнил звук ружейного выстрела. А что могло бы причинить ему ружье, это он почувствовал по полету пули. Сквозь дым Мики казался Лебо только туманным, расплывчатым пятном, мчавшимся к густой чаще леса. Лебо выстрелил еще три раза. Но Мики ответил ему только вызывающим злобным лаем. Теперь уж он находился у самого края густой еловой поросли. Еще мгновение – и он уже исчез почти одновременно с тем, как Лебо успел выпустить в него свой последний заряд.

Но смертельная опасность, от которой Мики только что едва успел спастись, все-таки не заставила его покинуть область Джексонова Колена. Напротив, именно она-то его здесь и удержала. У него было теперь о чем подумать, помимо Нивы и его собственного одиночества. Как лисица возвращается назад, чтобы взглянуть на тот капкан, в котором остался навсегда ее хвост, так и для Мики тропинка между капканами наполнилась вдруг новой прелестью. До сих пор запах человека имел для него лишь смутное, слабо сознаваемое им значение; теперь же он говорил о реальной и конкретной опасности. Он упивался ею. Все чувства его теперь обострились, и очарование заколдованной тропинки, проложенной по следу, стало притягивать его к себе сильнее, чем когда-либо.

С этого дня он, как мрачное, серое привидение, уже не сходил с тропинки. Тихо, осторожно, всегда наготове встретиться с подстерегавшей его опасностью, он следовал за шагами и мыслями Жака Лебо с настойчивостью оборотня или какого-нибудь мрачного лесного духа. На следующей же неделе Жак Лебо видел его два раза. Три раза слышал его лай. И еще два раза Мики следовал за ним по пятам сам, пока наконец тот, измучившись и в отчаянии, не махнул на него рукой. Мики никак нельзя было застигнуть врасплох. Он уже больше не съедал приманок в западнях. Даже когда Лебо соблазнял его целой заячьей тушкой, он и тогда не прикоснулся к ней. Из всех приманок он хватал только одно живье, главным образом птиц и белок. Однажды попавшаяся в ловушку выдра прыгнула на Мики и разодрала ему морду. После этого он стал терзать всех попадавшихся в капканы выдр таким отчаянным образом, что совершенно портил их шкурки. Он нашел для себя новое убежище, но инстинкт научил его уже никогда больше не возвращаться к нему прямым путем, а уходить из него и приходить обратно окольными путями.

День и ночь Лебо придумывал коварные замыслы против Мики. Он разбросал множество отравленных приманок. Однажды он убил косулю и наполнил ей внутренности стрихнином, настроил целый ряд потайных ям, куда Мики должен был провалиться, и в виде приманки разложил в них мясо, пропитанное топленным салом. Наконец, он построил для себя из еловых и кедровых веток шалаш и стал просиживать в нем по целым часам с винтовкой наготове. И все же Мики оставался неуловимым.

Как-то раз Мики нашел в одной из ловушек попавшуюся в нее норку. У него даже и в мыслях не было причинить ей хоть какой-нибудь вред. Обычно он возвращался к себе в логово с вечерней зарей, но в этот вечер его удержала в лесу великая и всепоглощающая тоска одиночества. На нем, как говорят индейцы, почил дух Кускайстума – бога дружбы. В

нем пробудилась жажда иметь около себя плоть и кровь, которые точно так же, как и он сам, желали бы иметь около себя и его. Эта жажда сжигала его, как огнем. Она поглощала в нем всякую другую его мысль, будь то думы о голоде или об охоте. Великая, неутолимая тоска овладела всем его существом.

Тут-то он и наткнулся на норку. Сидя в западне, она уже больше не боролась за свою свободу, примирилась и, видимо, уже покорно ожидала своего конца. Она показалась Мики такую мягкой, теплой и ласковой. Пес вспомнил о Ниве и тех тысяче и одной ночи приключений, которые он провел бок о бок с ним, и ему вдруг безумно захотелось иметь около себя друга. Он заскулил и продвинулся к норке поближе.

Норка не ответила на его предложение о дружбе и не шелохнулась. Она сидела, вся съежившись в плотный, мягкий комочек, недоверчиво поглядывая, как Мики уже подползал к ней на животе. И тут в собаке проснулось что-то далекое, оставшееся в нем от щенка. Он стал вилять хвостом и стучать им о снег и заскулил так, точно хотел этим сказать: «Будем друзьями! Вот увидишь, какое у меня славное логово! Знаешь что? Я принесу тебе сейчас что-нибудь поесть!»

Норка не двинулась и не издала ни звука. Мики подполз к ней еще ближе, так что уже мог коснуться ее лапой. Его хвост застучал о примятый снег еще решительнее.

«Я тебя выведу и из западни! – казалось, хотел он ей объяснить. – Это расставил их повсюду человек-зверь! Я ненавижу его!»

И вслед за этим, настолько неожиданно, что Мики даже не успел приготовиться к обороне, норка прыгнула прямо на него и острыми, как бритва, резцами впиалась ему в нос. Даже и тут боевой пыл стал лишь постепенно разгораться в собаке, и не впейся зубы норки ему вторично в плечо, он, пожалуй, и ушел бы восвояси. Он попытался было стряхнуть с себя своего врага, но норка не отцеплялась. Тогда челюсти Мики сомкнулись, крепко сжали ее затылок – и норка испустила дух.

Мики отошел от капкана, но не ощутил в себе никакой радости от своей победы. Его, четвероногого зверя, охватила такая же безысходная тоска, какая и людей иногда доводит до сумасшествия. Он стоял в самом центре окружавшего его мира, но этот мир был для него теперь совершенно пуст. Он чувствовал в нем себя изгоем. Его сердце рвалось к дружбе, он искал ее, жаждал иметь около себя сверстника, чтобы быть не одному, но видел, что все твари боялись или ненавидели его. Он был парией, бездомным бродягой, без сверстника и без крова. Он не давал себе во всем этом отчета, но мрачная правда окутывала его со всех сторон, как непроглядная ночь.

В этот вечер он не вернулся обратно к себе в логово. Он сел на задние лапы на небольшой лесной площадке, стал прислушиваться к ночным звукам и смотреть на то, как одна за другой стали зажигаться звезды. Входила полная, ранняя луна, и, когда ее большой красный диск появился над лесами, Мики вдруг почувствовал на себе всю тяжесть жизни и, уставившись на луну, жалобно завыл.

Глава XV

У излучины Трехсосновой реки, в самой глуши лесов, между Шаматтавой и Гудзоновым заливом, находилась хижина, в которой проживал зверолов Жак Лебо. Едва ли нашелся бы во всей этой пустынной стране кто-либо другой, кто превосходил бы в злобе этого самого Лебо, разве только соперничавший с ним в некоторых отношениях некий Дюран, который в ста милях к северу от него охотился на лисиц. Громадного роста, с угрюмым, тяжелым выражением лица, с глазами зеленоватого цвета, которые были всегда полузакрыты и обнажали в нем безжалостную душу, если только в нем вообще могла быть душа, – Лебо принадлежал к тем отбросам общества, и притом самого плохого сорта, которым никогда не находится места среди обыкновенных людей. Индейцы прятались от него в свои шалаши и со страхом перешептывались между собою о том, что в нем собрались воедино все злые духи его предков.

По странной иронии судьбы Лебо имел при себе жену. Будь это ведьма или злодейка, или вообще человек, подобный ему самому, то этот брак не представлялся бы таким неестественным. Но она была совсем не такова. Миловидная, с выражением какой-то необыкновенной привлекательности на бледных щеках и в пытливых глазах, дрожавшая, как рабыня, при одном только приближении к ней Лебо, – она, как и его ездовые собаки, составляла собою в полном смысле слова собственность этого человека-зверя. У женщины был ребенок. Мысль о том, что он может умереть, по временам заставляла наполняться слезами ее черные глаза.

– Ты будешь жить! – иногда плакала она над ним втихомолку. – Клянусь тебе в этом! Я буду молиться за тебя святым ангелам!

И именно в такие моменты глаза ее вдруг вспыхивали огнем, и по всему ее лицу, еще так недавно отличавшемуся красотой, разливалось яркое розовое пламя.

– День придет! – повторяла она. – День придет!..

Но она никогда не договаривала, даже находясь в обществе одного своего ребенка, своих мыслей и того, какого именно дня она ожидала.

Иногда она предавалась мечтательному настроению, старалась кое-что себе вообразить. Ведь где-то далеко развертывался громадный, интересный мир, и сама она еще была далеко не стара. Она думала об этом всякий раз, как глядела на себя в осколок от разбитого зеркальца, расчесывая свои длинные волосы, ниспадавшие ей до пят. Эти волосы представляли теперь все, что осталось от ее красоты. Они как бы бросали вызов человеку-зверю. И в глубине ее глаз и на самом лице все еще таились следы того именно вечнодевичьего, что готово было вновь расцвести, как пышный цветок, если бы только судьба исправила наконец свою ошибку и вырвала бы ее из мертвящей власти ее владыки. В этот день она простояла у зеркала немного дольше обыкновенного, когда вдруг услышала тяжелые шаги, долетевшие до нее снаружи.

Тени прошлого тотчас же слетели с ее лица. Лебо не был дома еще со вчерашнего дня, где-то расставляя свои капканы, и его возвращение теперь наполнило ее душу прежним страхом. Он уже два раза заставлял ее раньше за зеркалом и оба раза жестоко бранил ее за то, что она даром тратит время на разглядывание себя, вместо того чтобы очищать его шкурки от жира. В последний раз он так на нее разозлился за это, что даже отшвырнул ее к стене, а самое зеркальце разбил на части. Она подобрала осколки, и тот кусок, в который она только что смотрелась, был всего только в две ее маленькие ладони. Она испугалась, как бы муж не поймал ее и в третий раз. Она быстро спрятала зеркальце в потайное местечко и поспешила поскорее заплести свои тяжелые, длинные волосы в косы. Странное, полное страха и скрытности выражение вдруг, точно пелена, появилось у нее в глазах и скрыло за собою

те тайны, которые она только что видела в себе самой. Когда он вошел, она обернулась к нему, как оборачивалась и всегда в своей чисто женской надежде на лучшее, и приветствовала его. Он вошел мрачный и угрюмый, точно зверь. Он был в плохом расположении духа. Грубо бросил принесенные с собою меха прямо на пол. Потом указал ей на них пальцем и, прищулив глаза, грозно посмотрел ими на супругу.

– Опять приходил этот черт! – проворчал он. – Смотри, как он искусал всю выдру! И так здорово пообчистил все мои капканы и ловушки! Но я его убью! Я поклялся разрезать его на мелкие кусочки вот этим самым ножом – и разрежу! Завтра же я приведу его сюда! Позаботься о шкурках, только дай мне сначала поесть. Почини шкурку норки – видишь, он разорвал ее чуть не пополам – и самый шов замажь получше салом, чтобы не заметил агент с поста, что она с брачком. Черт бы их всех побрал, этих агентов! Вот подлое отродье! Почему он всегда орет на меня, когда я к нему прихожу? Отвечай же, дура!

Таково было его приветствие. Он швырнул лыжи в угол, постучал ногами об пол, чтобы свалился с них снег, и достал с полки новый запас какого-то черного табаку. Затем он снова вышел, оставив женщину с холодным трепетом в сердце и с бледностью беспросветного отчаяния на лице. Она стала разогревать для него обед.

Из хижины Лебо прошел прямо на псарню, огороженное еловыми кольями место, в центре которого находилась особая клетка. Он гордился, что во всей стране между Гудзоновым заливом и Атабаской у него были самые злые ездовые собаки. Это-то и послужило главным поводом к его ссоре с северным соперником Дюраном; мечтой Лебо было выкормить такого щенка, который, выросши, смог бы загрызть насмерть превосходную ездовую собаку, на которой Дюран каждую зиму, как раз на Новый год, приезжает на пост. Для этой цели Лебо стал выкармливать у себя собаку по кличке Убийца. Таким образом, предстояла большая свалка у Божьего озера. В тот день, когда там сцепятся обе собаки, Лебо и Дюрана, и будут поставлены на них заклады, и Лебо выиграет эти заклады и упрочит свою репутацию, как собачник, этому его Убийце исполнится ровно два года без одного только месяца. И вот, для того только, чтобы повидаться с этим Убийцей, Лебо и вышел сейчас из хижины и направился к самой клетке.

Собака отвернулась от него со злобным рычанием. На лице у Лебо появилось выражение радости. Он обожал в ней это ее рычание. Он любил красный, предательский огонь в глазах Убийцы и угрожающее щелканье его зубов. Все благородные порывы, с которыми родилась когда-то на свет эта собака, были из нее выбиты именно дубиной этого человека. Если могло когда-либо существовать поразительное сходство между собакой и ее хозяином, то в данном случае оно было здесь налицо: и у Лебо, и у Убийцы вовсе не было души. Убийца из собаки превратился в дьявола, а сам Лебо из человека стал зверем. Вот потому-то он и мечтал о предстоящем собачьем поединке и нарочно воспитывал для него подходящую собаку.

Лебо посмотрел на Убийцу со всех сторон и остался им очень доволен.

– Да, ты теперь превосходно выглядишь, Убийца! – воскликнул он с восторгом. – Я уже заранее обоняю и вижу ту кровь, которая прыснет из дюрановского кобеля, когда ты, голубчик, запустишь свои зубы ему в шейный позвонок! А завтра я устрою для тебя репетицию – замечательное испытание! Я приведу к тебе ту дикую собаку, которая обкрадывает мои ловушки и портит шкурки у попавшихся в них зверьков. Завтра я поймаю этого пса, а ты заведи с ним драку и постарайся загрызть его наполовину, но так, чтобы он все-таки оставался еще жив. А затем я, еще заживо, вырежу у него сердце и дам тебе его съесть, пока его тело еще будет трепетать. После этого тебе уже не будет никакого оправдания, если ты опростоволосишься с собакой Дюрана. Понял? Итак, завтра будет для тебя репетиция. Но смотри, если эта собака тебя побьет, то я сам тебя убью вот этими руками. Да. Если ты даже только заскулишь, то и тогда тебе не будет пощады. Убью – и конец!

Глава XVI

В эту самую ночь, в десяти милях к западу, Мики спал под буреломом всего только в полуверсте от расставленных Лебо капканов.

На заре, в то самое время, как Лебо вышел из своей хижины в сопровождении Убийцы, Мики тоже выполз из-под своего бурелома, оставив за собою ночь, полную тревожных сновидений. Ему снились те первые недели скитаний, когда, потеряв своего хозяина, он проводил время с Нивой. Эти видения наполнили его такими невыносимыми тоской и одиночеством, что он стал скулить, безучастно глядя на то, как перед занимавшимся утром таяли темные тени ночи. Если бы только Лебо мог видеть, как он стоял теперь, весь залитый первыми лучами холодного солнца, то он, пожалуй, не сказал бы про него своему Убийце тех слов, которые сказал. Для своих одиннадцати месяцев Мики был в полном смысле слова великаном. В нем было шестьдесят фунтов весу, и из этих шестидесяти фунтов ни один процент не приходился на долю жира. Тело его было тонко и гибко, как у волка. Грудь – массивна, и при каждом его движении мускулы натягивались на ней, как струны. Ноги он унаследовал от отца, а челюстями мог разгрызть оленью кость так же легко, как Лебо мог разбить ее о камень. Из одиннадцати месяцев своего существования на свете целых восемь он провел в глуши, на полной свободе, без хозяина; судьба закалила его, как вороненую сталь. Жизнь в глуши лесов, без всякого снисхождения к его молодости, так вышколила его в своем кипучем, безжалостном котле, что он научился бороться за жизнь, убивать, чтобы быть сытым, и пускать в ход свой мозг раньше, чем зубы. Он был так же силен, как и Убийца, хотя тот был вдвое старше его, но, помимо силы, он обладал еще также и хитростью и сметкой, которых рабу Убийце никогда не суждено было узнать. Так вышколила его лесная пустыня к описываемому дню. Как только солнце окрасило леса в свое холодное утреннее пламя, Мики направился прямо к капканам, расставленным Лебо. Дойдя до того места, по которому Лебо проходил еще только вчера, он подозрительно обнюхал оставленные его лыжами следы, от которых еще сильно отдавало человечиною. Он уже привык к этому запаху, но это еще не знаило, что он перестал его остерегаться. Этот запах одновременно и отталкивал и притягивал его к себе. Он наполнял все его существо непонятным страхом, и все-таки Мики сознавал, что бежать от него был не в силах. За последние десять дней он три раза видел самого Лебо, а один раз был так близко от него, что едва успел спрятаться, когда тот проходил мимо.

В это утро Мики побежал прямо к болоту, на котором были расставлены капканы Лебо. На этот раз в них попало больше всего зайцев, и попадались они именно на этом самом болоте в маленькие домики, которые Лебо устраивал из прутьев и веток, чтобы снег не засыпал его приманок. Зайцев ловилось всегда так много, что они представляли собою для звероловов одно сплошное бедствие, так как, попадаясь в ловушки, делали их совершенно бесполезными для поимки других животных, с более ценным мехом. Это раздражало Лебо тем более, что к зайцам теперь прибавился еще и Мики, который съедал приманки и портил шкурки на попавшихся действительно ценных зверьках.

По мере того как при свете раннего солнца Лебо спешил вперед, его сердце все более и более распалялось гневом и местью. За ним, привязанный на ремне, следовал по пятам и Убийца. В то время как они подошли к болоту, Мики уже обнюхивал ловушки. Первая из них оказалась уже совершенно пустой; вторая – тоже. Он удивился и отправился к третьей. Тут он остановился, постоял несколько минут, подозрительно понюхал воздух и только после этого подошел к ней поближе. Следы человека оказались здесь более отчетливыми. Весь снег был утоптан, и запах Лебо был так силен, что Мики на минуту подумал, что он находится где-нибудь совсем поблизости. Затем Мики подошел к домику и заглянул в него. В нем оказался большой полярный заяц, который посмотрел на него испуганными круглыми гла-

зами. Какое-то особенное предчувствие опасности сразу же сдержало Мики. В позе старого зайца было что-то угрожающее. Он совершенно не был похож на тех других зайцев, которых Мики ловил раньше по всей линии расставленных капканов. Он бился во все стороны, стараясь высвободиться из ловушки, не лежал полужамерзшим и не прыгал на конце силка. Напротив, он как-то уютно чувствовал себя в домике, сжавшись в теплый круглый комок, и больше не желал ничего лучшего. Было ясно, что Лебо поймал его прямо руками в каком-нибудь дупле и просто привязал его в ловушке к колышку ремешком, установив вокруг него под снегом целый ряд капканов, в которые должен был наконец попасться Мики.

Несмотря на безотчетный импульс, все время звавший его назад, Мики все ближе и ближе подходил к опасному месту. Завороженный его медленным и опасным продвижением вперед, заяц сидел словно окаменевший. Тогда Мики напал на него. Его могучие челюсти сжались. В тот самый момент раздался сердитый звук щелкнувшей стали, и капкан сжал его заднюю лапу. Зарывав, Мики выпустил из пасти зайца и повернулся к ней головой. Трах-трах-трах! Это захлопнулись еще три поставленных Жаком капкана. Два из них промахнулись. Третий защемил его переднюю лапу. Как до этого он хватал зубами зайцев и убивал норок, так и теперь он схватился ими за железо, почувствовав в нем нового, непримиримого врага. Челюсти его впивались в холодный металл, он буквально сдирал его со своей ноги, причем кровь из нее лилась рекой и обгаграла собою снег. Он бешено стал извиваться, чтобы хоть как-нибудь достать и до своей задней ноги. Но захвативший ее капкан оказался неумолимым. Он стал перегрызать его, и только кровь потекла у него изо рта. И когда Лебо и его Убийца вышли из-за елового кустарника, находившегося от Мики всего только в двадцати ярдах, то они увидели, как он безуспешно боролся с железом.

Человек-зверь остановился. Он задыхался, и глаза его горели. Щелканье капкана он слышал еще за сто ярдов отсюда и потому бежал.

– Уф... Попался-таки наконец! – вздохнул он, туго натягивая ремень, на котором вел за собою Убийцу. – Гляди сюда, красноглазый! Он здесь! Это тот самый разбойник, которого ты должен загрызть, но только не совсем. Сейчас я развяжу тебя и – ату его!

Перестав сражаться с капканами, Мики стал следить за приближением Лебо. В этот момент смертельной опасности Мики не испугался человека. Текшая в его жилах горячая кровь забушевала в нем жаждою убийства. Точно пробудившись от сна, он сразу же инстинктивно понял всю правду. Эти двое – человек-зверь и его собака Убийца – были его настоящими врагами, а не эта штука, сжавшая, точно в клещах, обе его ноги. И ему сразу пришло на память то, что происходило точно бы только еще вчера. Он не в первый раз увидел перед собою человека с дубиной. А у Лебо как раз была в руке дубина. И все-таки он его не испугался. Он пристально стал следить за Убийцей. А этого пса теперь спустили с привязи, и он стоял от Мики всего только в нескольких шагах, на всех своих четырех лапах, и его загрызок ошетинился, и все мускулы его тела напряглись.

Мики услышал, как человек-зверь скомандовал:

– Ну, черт! Ату его!

Мики ждал, не двинув ни единым мускулом. Многому научили его тяжелые уроки пустыни, а главное: ждать, наблюдать и использовать свою хитрость. Он улегся на живот и положил морду между передними лапами. Его губы были слегка, только лишь немножко, оттянуты назад; но он не издал ни малейшего звука, и глаза его горели, как два раскаленных угля. Лебо с удивлением на него посмотрел. Он вдруг почувствовал в себе какой-то новый трепет, и этот трепет вовсе не был в нем желанием мести. Никогда еще в своей жизни он не видел, чтобы так вели себя даже рысь, лисица или волк, попавшие в западню. Никогда еще он не видел собаки, которая смотрела бы на его Убийцу так, как смотрел на него теперь Мики. И на мгновение он даже затаил в себе дыхание.

Фут за футом, дюйм за дюймом Убийца стал подползать к нему все ближе и ближе. Десять футов, восемь, шесть – и все это время Мики не шелохнулся и не сморгнул даже глазом. И тут, точно тигр, на него с яростным рычанием налетел Убийца.

Но то, что случилось вслед за этим, было самой удивительной вещью, какую когда-либо видел на своем веку Лебо. Так быстро, что человек-зверь едва успел уловить его движение, Мики как молния пролетел под самым животом у Убийцы и, повернувшись, насколько позволяла ему его капканная цепь, впился зубами в самое горло своего противника еще прежде, чем Лебо успел бы сосчитать до десяти. Теперь обе собаки повалились навзничь, а Лебо, с дубиной в руке, продолжал стоять как зачарованный. Он услышал затем крушащийся звук челюстей и понял, что то работали зубы Мики; потом до него донеслось рычание, перешедшее затем в визгливый, предсмертный стон, и он понял, что этот стон издал его Убийца. Кровь бросилась ему в лицо. Горевший в его глазах красный огонь вдруг погас, и они снова вспыхнули, но уже восторгом и торжеством.

– Гром и молния! – проговорил он, прерывисто дыша. – Ведь этак он и вовсе прикончит Убийцу! Нет, я еще никогда не видал такой собаки! Я оставлю его жить, и пусть он бьется с джорановским псом вместо моего Убийцы! Клянусь тысячью чертей!..

Еще бы одна минута – и Убийце пришел бы конец. Тогда выступил на сцену сам Лебо со своей дубиной. Углубляясь клыками в горло Убийцы, Мики одним краешком глаза уловил приближение новой опасности. Он высвободил зубы и, когда увидел, что на него стала опускаться дубина, тотчас же оставил в покое Убийцу. Он лишь отчасти избежал сокрушающего удара, который все-таки пришелся ему по плечу и сбил его с ног. С быстротой молнии он снова вскочил на них и бросился на Лебо. Но француз мастерски владел дубиной. Он ею пользовался всю свою жизнь и внезапным боковым ударом с невероятной силой ударил Мики прямо по голове. Кровь хлынула изо рта и ноздрей у собаки. Она была оглушена и почти ослеплена. Мики опять вскочил на ноги, но дубина вторично повергла его наземь. Он услышал затем свирепый крик восторга, который испустил Лебо. Свалив Мики в третий, четвертый и пятый раз, Лебо уж больше не смеялся и вдруг стал чувствовать овладевший им перед собакой страх. Когда на шестом ударе дубина промахнулась, то зубы Мики вдруг сомкнулись у него на самой груди, содрали с него куртку и рубашку, точно это были простые листки бумаги, и оставили у него на груди кровавый шрам. Еще бы только несколько дюймов и немного более точный расчет – и зубы Мики впились бы в самое горло Лебо. Человек-зверь издал пронзительный крик. Он понял, что его жизнь висела уже на волоске.

– Убийца! Убийца! – стал кликать он к себе свою собаку и дико замахал вокруг себя дубиной.

Убийца не отозвался. Возможно, что в этот момент он наконец осознал, что не кто иной, как именно этот самый его хозяин, сделал из него чудовище. Перед ним открывалась пустыня, которая широко распахивала перед ним двери к свободе. Когда Лебо позвал его опять, то он уже убегал от него навсегда, оставляя за собою кровавый след, – и больше уже Лебо не видел его никогда. Возможно также, что он присоединился к волкам, так как и сам был на три четверти волком.

Лишь краешком глаза Лебо мог видеть, как он от него исчезал. Его дубина поднялась опять и промахнулась и на этот раз; только одна простая случайность спасла его. Мики зацепился за капканную цепь и повалился навзничь в тот самый момент, как его горячее дыхание уже почти долетело до самого горла Лебо. И прежде чем Мики успел прийти в себя, дубина уже вколачивала его голову в глубокий снег. Свет потемнел у него в глазах. Силы уже совсем оставили его. Лежа замертво, он все еще слышал над собой задышавшийся, возбужденный голос зверя-человека. Несмотря на всю черствость своего сердца, Лебо не мог удержаться от радостного, благодарного крика, что он оказался победителем и что так легко избежал смерти, хотя и был от нее всего только на один волосок.

Глава XVII

Под вечер Нанетта, жена Лебо, увидела из окна, что ее муж возвращается из лесу, таща за собою что-то непонятное. С тех самых пор, как ее муж впервые заговорил о какой-то дикой собаке, она в глубине своего сердца стала испытывать к ней тайное сострадание. Еще задолго перед тем, как появился на свет ее последний ребенок, у нее была собака, которую она очень любила. Эта собака давала ей возможность испытывать единственную привязанность, которую она знала в обществе своего мужа, а он с варварской жестокостью согнал ее со двора. Она убежала в лес искать той свободы, которую получил наконец и Убийца, и вследствие этого Нанетта и теперь надеялась, что дикому псу, о котором говорил ее муж, все-таки как-нибудь удастся избежать капканов.

По мере приближения Лебо она стала различать, что то, что он за собой тащил, было чем-то вроде саней, устроенных из четырех еловых ветвей, и когда взгляделась попристальнее и увидела, что на них лежало, то она испустила легкий крик ужаса.

Все четыре ноги Мики были так туго притянуты к этим ветвям, что он не имел возможности двинуться. Охватывавшая его шею веревка была крепко привязана к поперечной жерди. Челюсти собаки Лебо окрутил ремнем, так что получилось нечто вроде намордника. Все это Лебо сделал с Мики, когда еще он не успел прийти в себя после избиения. Женщина увидела его, и у нее от волнения перехватило дыхание, и она испустила слабый крик. Несколько раз она видела, как Жак избивал собак, но чтобы он мог так изувечить эту собаку, она даже себе этого и не представляла. Голова и плечи Мики представляли собою одну сплошную массу замерзшей крови. Она заглянула ему в глаза. Они были устремлены прямо на нее. И женщина отвернулась, боясь, как бы Жак не прочел того, что было написано у нее на лице.

Лебо втянул свою поклажу прямо в хижину, затем отошел в сторону и стал потирать руки, поглядывая на распростертого на полу Мики. Нанетта с изумлением увидела, что он находился в хорошем расположении духа, и стала ожидать, что будет дальше.

– Клянусь всеми святыми, – восторженно начал он, – ты бы только видела, как он чуть не загрыз нашего Убийцу! Да, он его схватил прямо за глотку и при этом так скоро, что ты не успела бы даже глазом моргнуть. Даже я сам был два раза на волосок от смерти! Теперь собаке Дюрана не поздоровится, когда они сойдутся оба вместе в драке в Форт-Огоде! Готов побиться об заклад, что этот ее задушит в одну минуту. Ну и молодец же! Посмотри за ним, Нанетта, пока я пойду сделаю для него отдельную конуру, а то он перегрызет там всех других собак!

Он вышел. Глаза Мики все время следили за ним, пока наконец он не затворил за собою дверь. Потом он вдруг перевел глаза на Нанетту. Она подошла к нему и склонилась над ним. Глаза ее горели. Мики застонал и смолк. В первый раз в жизни он видел перед собою женщину и сразу же почувствовал всю огромную разницу между женщиной и мужчиной. В избитом и исковерканном его теле слабо затрепетало сердце. Нанетта заговорила с ним. Никогда еще в жизни он не слышал такого голоса – мягкого и нежного, с едва сдерживаемыми слезами. А затем – чудо из чудес! – она опустилась перед ним на колени и коснулась его головы рукой!

В этот момент душа его сделала громадный прыжок назад через целые поколения его отцов, дедов и предков к тому далекому времени, когда собака впервые сделалась другом человека и стала шумно играть с его детьми, чутко прислушиваясь к зову женщин и преклоняясь перед гением человечества. Нанетта быстро пробежала до печки и вернулась обратно с тазом теплой воды и мягкой тряпкой. Она стала смачивать ему голову, все время при этом разговаривая с ним мягким полурыдающим голосом, полным сострадания и любви. Он

закрыв глаза – больше уж не боялся. Тяжелый вздох всколыхнул все его тело. Ему захотелось вдруг высунуть язык и лизнуть им эти тонкие белые руки, которые принесли ему мир и успокоение. А затем случилась еще более странная вещь. В колыбели поднялся младенец и стал что-то лепетать по-своему. И Мики внезапно охватила какая-то странная, полная очарования дрожь, какой он не испытывал никогда. Он широко раскрыл глаза и заскулил.

Радостный смех – новый и странный даже для нее самой – послышался в голосе у женщины, и она побежала к колыбели и вернулась с ребенком на руках. Она опять опустилась перед ним на колени, а ребенок, при виде большой, странной игрушки на полу, широко растопырил свои детские ручки и задвигал пухлыми, крошечными ножками, одетыми в шерстяные чулки. Он стал лопотать, взвизгивать и смеяться до тех пор, пока наконец Мики не сделал усилия, чтобы хоть немножко повернуться в своих ремнях, продвинуться поближе и коснуться носом этого удивительного существа. Он забыл о своих страданиях. Он более уже не чувствовал мучительной боли в своих избитых и искалеченных челюстях. Все его внимание сосредоточилось теперь только на этих двоих.

Теперь и женщина вдруг стала прекрасной. Она поняла его, и ее робкое сердце радостно забилося у нее в груди, забыв о жестоком человеке. Ее глаза засветились мягким сиянием звезд, и на ее щеки набежал легкий румянец. Она усадила около него своего ребенка и продолжала обмывать ему голову теплой водой. Будь Лебо гуманным человеком, он сам склонился бы перед ней даже и тогда, когда она, как теперь, стояла на коленях; так чисто и прекрасно было в ней ее материнство, когда она на одно мгновение забыла о нем. Но он вошел и увидел ее – тихую и безмятежную, а она в первую минуту не заметила его прихода; он уставился на нее, а она все еще продолжала говорить, смеяться и в то же время и плакать, а ребенок болтал ногами и тянул ручонки к собаке.

Толстые губы Лебо скривились в презрительную усмешку, и он грубо ее окликнул. Нанетта вся съежилась в комок, как будто бы присела от удара.

– Встань с пола, дура! – крикнул на нее Лебо.

Она повиновалась и, взяв ребенка на руки, отступила с ним назад. Мики сразу заметил происшедшую в ней перемену, и в глазах у него снова сверкнул зеленый огонек, когда они встретились с глазами Лебо. Низкий, чисто волчий вой вылетел у него из горла.

Лебо повернулся к Нанетте. Тихий свет еще не совсем погас у нее в очах, и ее щеки еще пылали. Она крепко прижала к груди ребенка; тяжелая блестящая коса упала ей через плечо и отразила на своей шелковистой поверхности последний луч заката, заглянувший в комнату через окошко, выходившее на запад. Но все это было не для Лебо.

– Ты мне из этой собаки котенка не строй! – пригрозил он ей. – Испортила уже суку Мину – и довольно. А не то...

Он не договорил, но его большие руки сжались в кулаки, и в глазах у него сверкнула какая-то дикая страсть. Впрочем, договаривать было и не нужно. Нанетта сразу же поняла все. За свою совместную жизнь с Лебо она получила от него уже достаточно побоев, но одного его удара она не могла позабыть ни за что: она вспоминала о нем и днем и ночью, и если бы только могла вырваться отсюда и убежать хотя бы в Форт-Огод, то с каким бы наслаждением она рассказала там начальнику и всем о том, как ее муж Лебо ударил ее прямо в грудь в то самое время, как она кормила своего младенца, и задел при этом и его. Да, она рассказала бы об этом всем, но только в том случае, если бы была убеждена, что и она сама, и этот ее второй ребенок будут ограждены от такого мужа и отца.

Лебо взялся за жерди и вытащил Мики из хижины, чтобы посадить его в особую клетку, в которой он раньше держал двух лисиц. К одному из кольев этой клетки он прикрепил длинную цепь, к противоположному концу которой он привязал за шею Мики. Затем он бросил пленника в его тюрьму.

Несколько минут Мики пролежал спокойно, пока не восстановилось кровообращение в его онемевших и обмороженных членах. Затем он поднялся на ноги. Лебо с торжеством засмеялся и вернулся обратно к жене.

Для Мики потянулись дни мучений. Настал сущий ад – борьба между силой человека-зверя и духом собаки почти человека.

– Я обломаю тебя! – время от времени говорил Лебо, приходя к нему с дубиной и кнутом. – Я тебя сломаю! Клянусь тебе в этом. Я заставлю тебя подползать ко мне на животе! И когда я прикажу тебе драться насмерть, то ты будешь драться!

Клетка была очень тесна, так мала, что Мики с трудом мог увертываться в ней от ударов дубины и кнута. Эти два орудия пытки положительно сводили его с ума, а мрачная душа Лебо испытывала радость и блаженство всякий раз, как Мики бросался к кольям своей решетки, впивался в них зубами и затем отплевывался кровью, как бешеный волк.

Три раза видела Нанетта из окна своей хижины эти ужасные схватки человека с собакой. На третий раз она закрыла лицо ладонями и стала плакать. Когда Лебо вошел и увидел ее всю в слезах, то нарочно подтащил ее к окну и еще раз, насильно, заставил ее поглядеть на Мики, который, весь в крови, лежал избитый до полусмерти в своей клетке на полу.

В это самое утро Лебо должен был отправиться на осмотр своих капканов и западней. В такие дни он уходил из дому сразу на целых полтора дня и возвращался только к вечеру следующего дня. Уходя, он даже и не подозревал, что вслед за его исчезновением Нанетта выбежит из дому и направится прямо к клетке Мики.

Вот тогда-то Мики и позабыл ненадолго о человеке-звере. Избитый до такой степени, что едва мог держаться на ногах и смотреть, он все же нашел в себе достаточно сил, чтобы подползти к самой решетке и начать ласкаться о мягкие руки, которые бесстрашно просовывала к нему Нанетта. В одно из следующих посещений Нанетта принесла с собой и ребенка, закутанного, как маленький эскимос, и в преклонении перед обоими Мики радостно вилял хвостом и тихо, но ласково скулил.

Это удивительное событие в его жизни произошло в конце второй недели его плена. Лебо ушел, и на дворе стояла такая сильная метель, что Нанетта не решилась вынести на воздух ребенка. Поэтому она прошла к клетке одна и, с замиранием сердца отперев дверцу, на своих собственных руках перенесла Мики в хижину. Что, если бы Лебо когда-нибудь узнал, что она осмелилась это сделать?! Одна только мысль об этом бросала ее в дрожь. Тем не менее это продолжалось.

Однажды ее сердце чуть не остановилось, когда возвратившийся неожиданно Лебо вдруг увидел на полу пятна крови, оставленные собакой, и подозрительно взглянул на жену. Она успела ему солгать:

– Я порезала себе палец, – сказала она, и действительно, повернувшись к нему спиной, нарочно порезала его, так что когда Жак в следующий раз посмотрел на ее руку, то увидел, что палец на ней был обвязан и на тряпке виднелись кровавые следы.

После этого Нанетта внимательно следила за полом.

Эта хижина с женщиной и ребенком все более и более превращалась для Мики в рай. Наступил день, когда Нанетта настолько уже осмелела, что решилась брать его в хижину на всю ночь; и тогда Мики, лежа рядом с драгоценной колыбелью, ни на минуту не отрывал от нее глаз. Нанетта обыкновенно ложилась поздно. Перед сном она надевала длинный мягкий капот и, садясь около Мики и поставив маленькие голые ноги у печки, начинала расчесывать свои длинные волосы. Мики в первый раз увидел это удивительное, совершенно новое для него украшение женщины. Оно рассыпалось волнами по ее плечам и груди почти до самого пола, а запах от волос был так приятен, что Мики даже подползал к ней поближе и начинал тихонько скулить. С пытливым вниманием он следил также и за тем, как, кончив расчесывать волосы, она заплетала их в две косы своими тонкими пальцами. А затем, перед

тем как потушить в хижине свет, она еще брала на руки ребенка и начинала его нежно ласкать. Мики следил за всем этим полными любви глазами, а когда наступала наконец ночь и в хижине воцарялась тишина, то он заботился только о том, чтобы до самого утра их не побеспокоило ничто.

По утрам, когда Нанетта просыпалась и открывала глаза, то всегда находила, что Мики лежал так близко около ее постели, что почти касался своею шерстью прижавшегося к ее груди младенца.

Однажды утром, когда Нанетта разводила огонь, какое-то странное чувство, неожиданно проснувшееся у нее в груди, заставило ее вдруг ни с того ни с сего запеть. В этот день Лебо ушел до ночи. Ни за что на свете она не решилась бы рассказать ему, что собирались делать они трое: она, ребенок и собака, в его отсутствие. Это был день ее рождения. Только двадцать шесть лет! А ей казалось, что она прожила уже целых двести лет! И из этих двадцати шести – целых восемь проведены с Лебо! Но все равно сегодня они будут праздновать этот день только вдвоем. И все утро хмурая хижина была полна новой жизнью – новым счастьем.

Еще в те далекие времена, когда, Нанетта еще не встречалась с Лебо, индейцы прозвали ее «маленькой птичкой» – так хорош был у нее голос. И в это утро, готовя праздничное торжество, она вдруг вспомнила прошлое и запела. В первый раз за все свои восемь лет супружества. Солнце затопляло комнату своими лучами, Мики весело скулил и колотил об пол хвостом, ребенок лепетал что-то по-своему и смеялся – и человек-зверь на время был забыт. В этом забвении Нанетта стала снова очаровательной девушкой, прекрасной, как в те дни, когда покойный теперь и тогда уже старый индеец Джекпайн уверял ее, что она родилась из цветочной пыли. Наконец поспел и вкуснейший обед, и, к великому удовольствию ребенка, Нанетта пригласила на него и Мики. Он уселся рядом с ребенком и имел при этом такой глупо-серьезный вид, что Нанетта смеялась до тех пор, пока у нее на черных ресницах не показались слезы. Под конец она не выдержала, подскочила к нему, обняла его за шею и стала говорить ему ласковые слова.

Так прошел день до трех часов, когда Нанетта убрала все признаки бывшего торжества и снова отвела Мики в его тюрьму. Это случилось как нельзя более кстати, так как едва только она успела скрыть следы преступления, как в просеке показался сам Лебо. Он шел вместе с прибывшим с озера Барренса из-за Полярного круга своим другом и соперником Дюраном, с которым неожиданно столкнулся по пути. Дюран ехал на двух собаках в Форт-Огод, а Лебо осматривал свои ловушки – там они и встретились.

В нескольких словах Лебо сообщил об этом Нанетте, и та удивленными глазами посмотрела на Дюрана: он произвел на нее неприятное впечатление. Она как-то сразу почувствовала к нему неприязнь. Он не сказал с ней еще ни одного слова, но она уже его сразу испугалась и легко вздохнула, когда оба мужчины отправились на двор.

– А теперь я покажу вам того зверя, – обратился к Дюрану Лебо, – который задушит вашу хваленую собаку, как зайца, в один прием. Я вам говорил уже, но вы не хотели верить. Теперь убедитесь сами!

И он захватил с собой дубину и кнут.

В этот вечер Мики как-то особенно свирепо отнесся к дубине и к кнуту и держал себя, как тигр из джунглей. Даже изумился сам Дюран и, затаив дыхание, воскликнул:

– Ну и черт же, действительно!..

Нанетта увидела через окошко то, что происходило у клетки ее Мики, и крик глубокой боли вырвался у нее из груди. И вдруг то женское начало, которое Лебо целыми годами выколачивал из нее, как-то сразу вспыхнуло в ней торжественным и бесстрашным огнем. В ней пробудилась ее освободившаяся от оков душа. Она вдруг осознала в себе веру в свои забытые силы, в свое мужество и решительность. Резким движением она оторвалась от окна,

выбежала из хижины и прямо по снегу устремила к клетке. И тут в первый раз в жизни она ударила Лебо по руке, которою он размахивал дубиной.

– Зверь, зверь! – закричала она. – Я говорю тебе, не смей! Слышишь? Не смей!

Остолбнев от изумления, Лебо опустил свою дубину. И это говорила ему она, Нанетта, его раба? Эта удивительная женщина, в глазах у которой горел вызов и было такое выражение, какого он никогда раньше не видел ни у одной женщины в мире, была его кроткой, безответной женой? Нет, это какое-то недоразумение! Здесь какая-то ошибка! Его охватила бешеная ярость, и одним только движением руки он оттолкнул ее так, что она упала на землю.

– Теперь я его убью! – заговорил он быстро, задыхаясь. – Да, именно убью! И ты, ты, чертовка, съешь его сердце живьем! Я его насильно протисну сквозь твою глотку, чтобы ты не заступалась за него и не говорила мне таких слов! Я... я...

Он потянул Мики за цепь и вытащил его из клетки наружу. Затем он замахнулся на него дубиной, но между ним и собакой с быстротой молнии вдруг встала Нанетта. Дубина вылетела у него из рук, и освободившийся кулак изо всей силы ударил женщину по плечу. Она, как лист, повалилась на землю.

И тут...

Дюран крикнул Лебо, чтобы он посторонился. Но было уже слишком поздно. Как воплощение возмездия Мики туго натянул свою цепь, бросился на Лебо и вцепился ему зубами в самое горло. Нанетта слышала это предостережение Дюрана, она видела своими глазами всю эту дикую сцену; голова у нее кружилась, в висках стучало, но она все-таки попыталась подняться на ноги. Затем она посмотрела на то, что лежало около нее на снегу. Испустив дикий, отчаянный крик, она бросилась бежать к своему ребенку.

Мики не сделал ни малейшей попытки огрызнуться на Дюрана, когда тот, набравшись храбрости, решился наконец оттащить его от трупа Лебо. Может быть, благодетельный инстинкт и тут подсказал Мики, что долг его исполнен. Он покорно вернулся к себе в клетку и, улегшись там на животе, только искоса стал поглядывать из нее на Дюрана.

А тот, глядя на окровавленный снег и на мертвое тело человека-зверя, смог только еще раз прошептать:

– Ну и черт же, действительно!

А очеловечившийся зверь в это время лежал в своей клетке и думал думу.

Глава XVIII

Бывают случаи, когда смерть является не горем, а ударом. Таково именно было состояние и Нанетты Лебо. Собственными глазами она видела ужасный конец своего мужа, и тем не менее в ее нежной душе не нашлось ни малейшего желания ни поплакать о нем, ни погрустить. Она не желала бы, чтобы он воскрес из мертвых. Она не могла грустить о своем вдовстве уже по одному тому, что сознавала, какое тяжелое детство предстояло ее ребенку, если бы оставался в живых его отец. Дюран, который был, пожалуй, лишь немногим лучше покойного, даже и не спросил ее, как поступить с мертвым телом и где его похоронить. Он просто вырыл яму в мерзлой земле и закопал туда Лебо, даже и не выждав, когда труп остынет окончательно. И об этом Нанетта тоже нисколько не пожалела. Ее муж исчез из ее жизни навсегда. Теперь уж он больше никогда ее не ударит. И Нанетта почувствовала вдруг большое облегчение.

Мики все продолжал лежать на животе в своем заключении. Он не шелохнулся с той самой минуты, как вырвал жизнь из своего мучителя.

Он совсем не думал о том, как его жестоко били, или об опасности смерти, на волосок от которой он находился, когда Лебо заносил над ним дубину; он не чувствовал боли в своих избитых членах, в окровавленной пасти и в выстеганных плетью глазах. Он думал только о Нанетте. Почему она убежала с таким ужасным криком, когда он загрыз ее врага? Разве не этот человек сбил ее с ног и, наверно, избил бы ее до потери сознания, если бы он, Мики, не протянул во всю длину своей цепи и не разодрал бы ему гортань? Почему же она так спешно убежала и до сих пор не возвращается назад?

И он тихо стал скулить.

День уже кончался, и ранние сумерки северной зимней ночи уже начинали обволакивать лес. Неясная в полумраке тень Дюрана появилась у решетки тюрьмы Мики. Он инстинктивно с первого же взгляда возненавидел этого охотника с Барренса, но тем не менее на него не заворчал. Дюран заглянул к нему сквозь прутья решетки. Мики даже не шелохнулся.

– Уф, дьявол!.. – проговорил Дюран и передернул плечами.

И вслед за тем расхохотался. Это был низкий, жуткий, полуспрятавшийся в его черной бороде смех, от которого у Мики забегали мурашки.

Вслед за тем Дюран повернулся к нему спиной и зашагал к Нанетте.

Она вышла к нему навстречу. Ее темные глаза ярко выделялись на мертвенно-бледном лице. Она еще не успела как следует прийти в себя от первого впечатления по поводу трагической смерти Лебо, но тем не менее в них уже светилось возрождение для нее ее прежней девичьей жизни. Она держала в руках ребенка. Охотник посмотрел на нее изумленными глазами. Перед ним стояла уже другая Нанетта, уже совсем не та, какую он видел ее, когда вошел к ней в первый раз с Лебо. Он вдруг почувствовал неловкость. Как он мог оставаться равнодушным в то время, когда в его присутствии так грубо обращался с нею муж? Почему он не может выдержать теперь этого взгляда ее глаз? Почему она не казалась ему раньше такой писаной красавицей? Но он тотчас же и овладел собою и стал излагать перед нею то дело, с которым пришел.

– Теперь эта собака вам будет не нужна, – сказал он. – Я возьму ее с собой!..

Нанетта не ответила. При виде Дюрана у нее перехватило дыхание. Но ему показалось, что она ожидала от него дальнейших объяснений, и тут его сразу осенило вдохновение, и он придумал для нее целую ложь.

– Вам, вероятно, известно, – сказал он, – что как раз на Новый год в Форт-Огоде предполагается турнир между собакой вашего покойного мужа и моей. Ввиду этого ваш супруг нарочно тренировал ее. Но сегодня, когда он показал ее мне, я так и решил, что этот черт

непременно передошлет всех моих собак, как лисица кроликов. Поэтому мы решили турнира вовсе не устраивать, а просто сторговались, и ваш супруг этого черта предал мне из рук в руки как раз перед вашим приходом и таким образом ваша собака стала моей. Я купил ее и беру с собой.

– Собака не продается, – ответила Нанетта, и огонь в ее глазах разгорелся еще сильнее. – Это собака лично моя и моего ребенка. Теперь поняли, мсье Дюран? Собака не продается!

– Понял, – с удивлением сказал Дюран.

– И когда вы, мсье, приедете в Форт-Огод, то скажите там нашему агенту, что Жак погиб, и расскажите там, как было дело. Передайте также, чтобы прислали кого-нибудь за мной и за моим ребенком. А до тех пор мы будем оставаться здесь.

– Слушаю, мадам!

И Дюран вышел. Никогда еще он не видел такой красивой и гордой женщины и был полон удивления, как это Жак Лебо мог ее ругать и даже бить.

Он вернулся к клетке, где по-прежнему, все в той же позе, лежал Мики. Приблизив голову к прутьям, Дюран стал с ним мягко разговаривать.

– Ну что, псина? – заговорил он. – Она не хочет тебя продавать? Она хочет тебя оставить при себе только потому, что ты заступился за нее и загрыз моего приятеля? Ну, в таком случае мне придется распорядиться тобою своими собственными средствами. Скоро должна взойти луна. Я накину тебе на шею петлю и придушу тебя так быстро, что она даже не успеет и услышать. Затем я потащу тебя к себе. И если я оставлю эту дверцу открытой, то она подумает, что ты убежал из клетки сам! А ты уж отработашь мне это на предстоящем поединке!

Он отошел и отправился к тому месту, где, у опушки леса, оставил своих двух собак и легкие санки. Там он стал ожидать восхода луны.

Мики все еще не двигался. В окне хижины появился свет, и глаза его уставились на огонь. В его душе опять нарастала тихая жалоба на жизнь. Ему вдруг страстно захотелось заскулить. Теперь весь его мир заключался в этом самом освещенном окошке. Женщина и ребенок заглушили в нем все его желания, за исключением только одного – быть именно с ними.

А в это время в самой хижине Нанетта думала только о нем и о Дюране. В ее ушах все еще звучали его слова: «Теперь эта собака вам будет не нужна». Да, теперь все до одного человека могут сказать ей то же самое, что и он, когда узнают, как обстояло дело. «На что ей собака? – скажут они. – Она ей вовсе не нужна!» Но почему же именно не нужна? Потому что загрызла ее мужа Лебо, защищая ее от его побоев? Потому что она освободила ее от того рабства, в котором держал ее этот озверевший человек? Или потому, что, благодаря именно этой самой собаке, ее ребенок будет теперь жить не так, как тот другой, и что она сама будет теперь смеяться вместо того, чтобы проливать слезы и проклинать свою судьбу?

И ей вспомнилось, как однажды, возвратясь вечером с осмотра своих силков, полный негодования на обкрадывавшую его дикую собаку, ее муж с негодованием сказал:

– Это не собака, а настоящий черт! Впрочем, волчьей крови в нем вовсе нет. Когда-то, может быть, даже очень давно, она принадлежала какому-нибудь белому, цивилизованному человеку.

Собака белого, цивилизованного человека!..

В душе Нанетты что-то отозвалось. Значит, когда-то, давно, эта собака имела своим хозяином белого, цивилизованного человека, так же точно, как и она сама знала свое детство, в котором цвели радостные цветы и весело распевали птицы! Она попыталась было мысленно проникнуть в прошлое Мики, но ей это не удалось. Она ни за что на свете не смогла бы представить себе мысленно даже и того, что происходило менее года тому назад, когда Мики вместе с Чаллонером оставили Дальний Север и отправились на юг; для нее показалась бы

необыкновенно странной дружба щенка с Нивой, этим маленьким черным медвежонком, ей в голову не могло бы прийти то, как оба они свалились с лодки Чаллонера в самую пучину и выплыли затем в Великую Страну Приключений, которая выработала из Нивы громадного медведя, а из Мики дикую, свободную собаку. Но в глубине души она чувствовала, что в судьбе Мики было что-то такое, чего она не могла себе вообразить. Мики недаром появился в этих местах. Что-то большее чем простой случай загнало его сюда.

Она тихонько поднялась и, боясь, как бы не разбудить ребенка в колыбели, осторожно отворила дверь. Только что взошла луна, и при ее еще неровном свете Нанетта отправилась прямо к клетке. Ее встретил радостный визг собаки, и она почувствовала, как Мики стал ласково лизать ее протянутые сквозь прутья клетки руки.

– Нет, нет! – сказала она со странной дрожью в голосе. – Ты не черт! Ты хорошая, славная, умная собака! Сколько времени я ждала, что вот-вот кто-то должен прийти сюда и спасти меня от этой ужасной жизни! И вот ты пришел и дал мне свободу. Благодарю, благодарю тебя...

И, точно от слова до слова понимая то, что она ему говорила, Мики склонил свою измученную и разбитую голову к ней на руки. Дюран издали наблюдал всю эту сцену. Он уловил свет от открывшейся двери и видел, как потом Нанетта прошла от хижины к клетке Мики. Его глаза ни на минуту не упустили ее из виду, пока наконец она снова не вернулась обратно. Он выждал, когда свет в комнате погас, и затем осторожно, как вор, тихо стал подкрадываться к собаке. Мики еще издали увидел его; ему помогла яркая луна, уже успевшая превратить ночь в полупрозрачный день. Но Дюран знал собак так, как и самого себя. Там, где Лебо применял грубость и дубину, он употреблял ласку, хитрость и быстроту, и потому смело и безбоязненно подошел к самой клетке Мики, просунул сквозь прутья руки и стал нежно его ласкать. Мики пристально посмотрел на него, а потом опять перевел взор на потемневшее окно Нанетты и, в избытке блаженства от ласки даже этого, несимпатичного ему человека, закрыл глаза. И вдруг Дюран просунул сквозь прутья клетки веревку. Мики даже и не заметил, как предательская петля мягко оплелась вокруг его шеи. Он также не заметил и того, как Дюран отпер дверцу клетки и, все еще не переставая его ласкать и говорить ему нежные слова, переложил конец веревки из одной руки в другую.

А затем случилось то, чего Мики не мог предвидеть.

Дюран быстро, как молния, вдруг откинулся назад, и Мики почувствовал, как его шею обхватил вдруг гигантский стальной капкан. У него захватило дыхание и помутилось в глазах. Делая судорожные усилия освободиться, он не мог издать ни малейшего звука и затем всею тяжестью своего тела повалился на землю. Еще десять секунд – и морда Мики уже оказалась туго стянутой намордником. Дюран взвалил его к себе на плечи и, оставив дверцу в клетке открытой, понес его к своим саням.

– Глупая Нанетта! – сказал он себе с усмешкой. – Она никогда не догадается, как было дело. Она будет думать, что ты сам сбежал от нее в лес, и назовет тебя неблагодарным!..

Он увязал Мики на своих санях, ослабил у него на шее петлю, чтобы он не задохнулся совсем, крикнул своим собакам – и они понесли его к Форт-Огоду.

Когда Мики пришел в себя, то собаки уже стояли: Дюран нарочно остановил их так скоро. Это входило в его планы. Он перегнулся через сани и начал с Мики разговор, но не тем грубым тоном, каким обыкновенно разговаривал с собакой Лебо, а просто, беззаботно, не повышая голоса и стараясь придать своим словам характер шутливой болтовни. Затем он погладил Мики по голове. Для собаки это показалось новым и непонятным: ведь так еще недавно Дюран сдавливал ей веревкой горло, как тисками! К тому же это была рука не Нанетты, а его! И еще более показалось Мики странным то, что он лежал теперь укутанный в одеяло и, кроме того, был укрыт еще и медвежьей шкурой. А между тем еще так недавно он дрожал в клетке от холода и не знал, чем и как согреться. Здесь же было для него так тепло и

так уютно! Поэтому он лежал спокойно. Дюран был в восторге от его ума. В эту ночь он не имел в виду большого переезда и потому остановился всего только в пяти или шести милях от хижины Нанетты, где и развел для себя костер. Здесь он вскипятил кофе и стал поджаривать на углях мясо. Он не давал ему испечься сразу, а старался подрумянивать его как можно медленнее, переворачивая его с боку на бок на деревянном вертеле, так что аппетитный аромат от него широко распространялся вокруг его стоянки. Двух своих упряжных собак он нарочно привязал поодаль, а сани с Мики придвинул как можно ближе к огню. Затем он стал следить за тем, какое впечатление производило на Мики его кулинарное искусство. С самых первых дней, как Мики был еще щенком, ему ни разу не представлялось в жизни случая, чтобы такой восхитительный запах щекотал ему ноздри. Он нюхал его, долго сдерживался и наконец облизнулся. Он даже от предвкушения щелкнул зубами. Дюран заметил это и ухмыльнулся себе в бороду. Затем он подождал еще четверть часа. После этого он снял мясо с вертела, порезал его на куски и целую половину их отдал Мики.

Мики с жадностью их проглотил.

Да, Анри Дюран был парень не дурак!

Глава XIX

В течение последних чисел декабря все пути на десять тысяч миль в окружности вели в Форт-Огоду. Был канун дня «Уске-Пипун», то есть Нового года – зимней гулянки обитателей пустыни, когда из дальних и ближних становищ и отдельных шалашей и хижин сюда сходились охотники и звероловы со своими чадами и домочадцами, чтобы продать свои меха и провести хоть несколько дней вместе с такими же людьми, как и они сами. У жены зверолова никогда не бывает соседок. «Линия» ее мужа всегда представляет собою, так сказать, маленькое, замкнутое государство, от которого надо отъехать на собаках целые сотни миль во все стороны, чтобы только найти хоть одну живую человеческую душу. Понятно поэтому, почему «Уске-Пипун» являлся таким интересным праздником для женщин; что же касается детей, то для них эти дни были все равно, что «идти в цирк» для городского ребенка; а мужчины всегда искали там и находили для себя ту желанную награду, ради которой с такими лишениями и трудом посвящали себя добыванию мехов. За эти немногие дни завязывались новые знакомства и восстанавливались старые связи. Отсюда распространялись все «свежие новости» диких лесов, где нет ни газет, ни регулярной почты: сведения о браках, смертях и рождениях; рассказы о трагических происшествиях, вызывающих слезы и рыдания, и о радостных событиях, от которых смеются и улыбаются. Именно в эти дни лесные люди в первый и в последний раз за все семь зимних месяцев «ездили в город». Индеец, метис, человек совершенно неизвестной породы и белый – все они одинаково веселились в эти дни, когда не различались ни цвет кожи, ни национальность.

В том году в Форт-Огоде предполагалось зажарить для надобностей приезжих нескольких оленей целиком, и ко времени приближения Дюрана к форту все дороги на юг, север, запад и восток были уже укатаны, как шоссе, от десятков тысяч следов собак и людей. Сотни саней спешили к Форт-Огоду из лесов, и на них прибывало не менее трехсот мужчин, женщин и детей и около тысячи собак. Дюран прибыл туда на день позже, чем рассчитывал, но, как известно, он времени зря не потерял. Теперь Мики сам уже послушно бежал вслед за его санями на конце ремня, хотя и был еще в наморднике. К вечеру третьего дня после своего отъезда из хижины Нанетты Лебо Дюран свернул с главного проезжего пути в сторону и погнал своих собак к стоянке некоего Андре Рибона, специальностью которого было снабжение фактора и его служащих в Форт-Огоде свежим мясом. Андре давно уже поджидал к себе своего друга и начинал уже страшно волноваться, что тот так долго не приезжал, хотя все еще не переставал его ожидать. Вот здесь-то Дюран и держал своего большого боевого пса. Тут же он оставил и Мики, заперев его на время в хижину Андре. Вслед за тем оба зверолова отправились в форт, который отстоял от них всего только в полумиле расстояния. Ни Дюран, ни Рибон не вернулись на ночь обратно. Хижина оставалась пустой. Но с наступлением темноты до слуха Мики вдруг стали доноситься какие-то странные и жуткие звуки, которые с приближением ночи стали раздаваться все громче и сильнее. То был шум от гулянки в Форт-Огоде – определенный гул человеческих голосов, смешанный с воем тысячи собак. Никогда ничего подобного Мики не слышал и теперь, сидя совершенно неподвижно один, стал вслушиваться в долетавшие до него звуки. Затем он встал передними лапами на подоконник и начал смотреть в окно, точно человек. Хижина Рибона находилась как раз на самой вершине холма, царившего над замерзшей гладью озера, и далеко-далеко над верхушками низкорослого леса по ту сторону озера Мики увидел красное зарево от больших лагерьных костров, разложенных вокруг Форт-Огода. Он заскулил и опять опустился на все свои четыре лапы. Всю ночь для него так мучительно долго тянулось время, пока не настал рассвет, что ему казалось, будто его оставили одного навеки. Но в этой хижине было для него все-таки гораздо удобнее, чем в клетке у Лебо, и он чувствовал себя в ней не так отворачи-

тельно, как там. Вся ночь прошла для него в чутком, беспокойном полусне, в течение которого он то и дело видел Нанетту и ее ребенка.

Дюран и Рибон вернулись только в полдень следующего дня. Они принесли с собой свежего мяса, на которое Мики накинута с невероятной жадностью, так как сильно за эти сутки проголодался. Как-то безотчетно для самого себя он терпел заигрывания с ним этих двух звероловов. На вторую ночь его снова оставили в хижине одного. Но когда на следующее утро Дюран и Рибон вернулись опять, то они уже принесли с собою клетку в четыре фута в квадрате, сделанную из прочных березовых прутьев. Открытая дверца клетки была приставлена ими вплотную к двери хижины снаружи, и они заманили в нее Мики самым простейшим образом при помощи куска сырого мяса. Как только он соблазнился на мясо и вошел туда, дверца мгновенно затворилась, и Мики снова оказался в неволе. Затем клетку поставили на большие сани – и не успело еще показаться солнце, как Мики уже был на пути к Форт-Огоду.

То был как раз самый главный день торжества, день, в который для общего пользования зажарили сразу целого оленя и в который предполагался собачий бой. По мере приближения к форту человеческий и собачий гомон все нарастал и нарастал. Мики никак не мог сообразить, в чем тут было дело, и встал в клетке на все свои четыре ноги, чтобы быть наготове ко всему, и совершенно не думал о тех людях, которые куда-то его везли. Он смотрел через их головы и когда вдруг зарычал и сердито зашелкал зубами, то Дюран от восторга даже засмеялся.

– Да, этот постоит за себя! – с восхищением воскликнул он. – Он и сейчас уже готов подраться!

Они двигались по берегу озера. Когда сани обогнули холмистый выступ и весь Форт-Огод вдруг открылся перед ними, как на ладони, возвышаясь на отлогом противоположном берегу, то рычание вдруг замерло у Мики в горле. Его челюсти сомкнулись. Казалось, что и его сердце на минуту сжалось и перестало вовсе биться. До этого момента вся его вселенная включала в себя не более чем с полдюжины человеческих существ. Теперь же, и притом как-то сразу, вдруг, без малейшей тени предупреждения, он увидел их сразу целые сотни. При виде Дюрана с его клеткой целые толпы народа вдруг побежали вслед за его санями и по бокам. Кроме них Мики заметил еще и волков, и такое их множество, что все чувства у него пришли в смятение. Его клетка стала теперь центром всеобщего внимания кричавшей, жестикулировавшей толпы мужчин и подростков, бежавших следом за нею. К толпе стали присоединяться также и женщины, из которых многие были с грудными детьми. И тут путешествию Мики пришел конец. Его выгрузили с саней и поставили рядом с другой клеткой, в которой сидела другая такая же собака, как и он. Около этой новой клетки стоял темный длинноносый метис, который был похож на пирата. То был Граус-Пит, соперник Дюрана.

При виде Мики на его толстых губах появилась презрительная усмешка. Он повернулся к окружающим его другим индейцам и метисам и сказал им что-то на своем языке, что вызвало их всеобщий горловой смех, походивший на ржание лошадей.

Лицо Дюрана сразу же густо покраснело.

– Смейся, подлый язычник! – крикнул он на Граус-Пита. – Но не забывай также и того, что я, Анри Дюран, все равно побью твою ставку!

И с этими словами он швырнул Граус-Питу прямо в лицо десять красных и две пестрые лисьи шкурки.

– Ну-ка, покрой эту ставку! – продолжал он кричать. – И помни, что у меня найдется еще в десять раз больше, чем столько!

Мики поднял морду и обнюхал воздух. Все кругом было насыщено странными запахами – от людей, собак и от пяти громадных туш оленей, которые жарились на своих вертелах на высоте целых пятнадцати футов над огромными кострами, которые были разложены

под ними внизу. Оленям надлежало жариться в течение целых десяти часов, причем их медленно поворачивали на вертелах толщиной в руку человека. Бой должен был начаться до наступления пиршества.

Целый час гомон и гул человеческих голосов раздавались у обеих клеток. Народ совещался относительно достоинств бойцов и бился об заклад. Дюран же и Граус-Пит продолжали бросать друг другу выражения самого глубокого презрения, пока наконец не охрипли совсем. Через час толпа стала редеть. Вокруг клетки вместо мужчин и женщин теперь толпились одни только черномазые дети. И тут только Мики увидал стаи волков, которые были привязаны по одному или по два у края опушки. Наконец-то его ноздри уловили различие. Нет, то оказались вовсе не волки, а ему же подобные собаки!

Вся эта суматоха так оглушила Мики, что он далеко не сразу заметил собаку-волка в соседней клетке. Он подошел к краю своей клетки и понюхал воздух. Волкообразный пес тоже высунул по направлению к нему свою морду сквозь прутья. Мики тут же вспомнил о той волчице, которая когда-то укусила его в плечо, и тотчас же инстинктивно оскалил зубы и заворчал. Собака-волк ответила ему таким же рычанием. Анри Дюран восторженно потер себе руки, а Граус-Пит только тихонько ухмыльнулся.

– Да, хорошая будет потасовка! – опять воскликнул Дюран.

– Да и мой волк тоже не будет сидеть сложа лапы! – ответил ему Граус-Пит. – Но только эту твою собаку, когда у них дойдет до сути дела, стошнит, как малого щенка.

Немного позже Мики увидел, что какой-то белый человек вплотную подошел к его клетке. Это был шотландец Мак-Доннель, фактор. Он посмотрел на Мики и на собаку-волка грустным взглядом. А десять минут спустя в его маленькой комнатке, которую он приспособил себе под канцелярию, он говорил своему более юному собеседнику:

– Следовало бы запретить эти собачьи бои. Но, к сожалению, я этого сделать не могу. Они ни за что не согласились бы на это. Мы проиграли бы на таком запрещении половину всей сезонной добычи мехов. Такие бои происходят в Форт-Огоде вот уже шестьдесят лет подряд, и в сущности, пожалуй, они ведь ничем не отличаются от тех боксовых матчей, которые производятся там, в цивилизации, на Юге. Только в данном случае...

– Непременно происходит убийство, – ответил молодой собеседник.

– Да, это я и хотел сказать. Одна из собак во всяком случае должна погибнуть.

Младший собеседник вытряхнул пепел из трубки.

– Я люблю собак, – сказал он очень просто. – В моем посту, когда я буду фактором на деле, никогда не будет боя – разве что между людьми. А сегодня я вовсе не намерен смотреть на эту драку, потому что боюсь, что если бы пошел туда, то непременно вышел бы из себя и мог бы ударить кого-нибудь и из людей.

Глава XX

Было два часа пополудни. Олени уже почти изжарились. Пиршество должно было начаться через два часа. Наступал момент собачьего боя.

На середину площадки собрались триста мужчин, женщин и детей, сгруппировавшихся тесным кольцом вокруг громадной клетки в десять футов в поперечнике. К этой центральной клетке были с двух сторон придвинуты две поменьше, в которых сидели уже собаки. Рядом с одной из них стоял Анри Дюран, рядом с другой – Граус-Пит. Теперь они уже более не перекорялись. Их лица выражали твердость и решительность, на них смотрели триста пар глаз, и триста пар ушей напряженно ожидали сигнала к началу боя.

Этот сигнал подал Граус-Пит. Быстрым движением он поднял дверку клетки Мики. Потом он совершенно неожиданно толкнул его сзади заостренной палкой, и Мики в один прыжок оказался в большой клетке. Почти в то же мгновение волкообразный пес выскочил из клетки Граус-Пита, – и обе собаки оказались на арене лицом к лицу.

Дюран мог бы разочароваться в тех движениях Мики, которые непосредственно последовали за этой встречей. Оказалось, что в течение первой полуминуты Мики все еще продолжал с любопытством поглядывать на то, что вокруг него происходило. Происходило дело в лесу, собака-волк заинтересовала бы его настолько, что он забыл бы остальное и отнесся бы к нему как к Убийце номер два или как к бешеному волку. Но при данных условиях он меньше всего думал именно о драке. Угрюмое кольцо ожидавших человеческих голов зачаровало его; он не мог не всматриваться в каждое лицо, резко поворачивал голову то туда, то сюда и как бы надеялся увидеть среди всех этих людей Нанетту и ее ребенка или своего старого хозяина Чаллонера.

Граус-Пит назвал свою собаку-волка Таао вследствие необыкновенной длины его клыков; и, как на грех, этого-то самого Таао, к несказанному ужасу Дюрана, Мики в первое время вовсе и не заметил. Он подбежал к краю клетки и выставил свою морду между ее прутьями. Увидев это, Граус-Пит вызывающе засмеялся. Затем Мики стал бегать кругом по клетке, все время вглядываясь в молчаливые лица стоявших зрителей. Таао держался на самой середине клетки, и его красноватые глаза смотрели на Мики, не отрываясь ни на одно мгновение. То, что находилось за пределами клетки, его вовсе не интересовало. Он знал, в чем заключалась его прямая обязанность, и радовался заранее тому, как он перегрызет горло своему противнику. Некоторое время, в течение которого у Дюрана стучало сердце, как молоток, Таао вертелся как на оси, следя за каждым движением Мики, и наконец ошетирил шерсть.

Мики вздрогнул, остановился, и в эту минуту Дюран убедился, что все его надежды рухнут. Не издав ни малейшего звука, собака Граус-Пита вдруг накинулась на своего противника. Дикий рев вырвался из груди ее хозяина. По кругу зрителей пронесся вздох – и Дюран почувствовал, как холодная струя вдруг пробежала вдоль всей его спины и достигла туго затянутого пояса. Но то, что случилось в следующий затем момент, заставило остановиться сердца у всех. Для каждого было теперь ясно, что Мики погибнет при первом же налете своего противника. Это предполагали и Граус-Пит, и сам Дюран. Но в самую последнюю, не поддающуюся исчислению часть секунды, когда челюсти Таао готовы были уже сомкнуться, Мики вдруг превратился в живую молнию. Никогда еще не было видано более быстрого движения, чем то, когда он вдруг повернулся к Таао. Челюсти их сошлись. Послышался ужасный звук ломавшихся костей, и в следующую затем минуту, сцепившись вместе, обе собаки уже катались по полу. Ни Граус-Пит, ни Дюран не могли теперь разобрать ровно ничего в той свалке, которая происходила в клетке. В ужасе от схватки, они позабыли даже о своих ставках. Такого боя в Форт-Огоде не было еще никогда.

Наконец звуки поединка долетели и до складов компании. В дверях появился молодой собеседник Мак-Доннелли и стал вглядываться в сторону большой клетки. Он услышал фыркание, рычание и лязг сталкивавшихся зубов, и его лицо сразу же сделалось серьезным, и в глазах у него загорелся недовольный огонек. Потом он с глубоким негодованием вздохнул.

– Какая гадость! – проговорил он про себя.

Скрестив на груди руки, он медленно сошел со ступеней и не спеша направился прямо к клетке. Когда ему удалось протиснуться сквозь плотное кольцо зрителей, то поединок был окончен. Он так же быстро пришел к концу, как и начался, – и собака-волк Граус-Пита уже лежала посреди клетки со сломанным позвоночником. Но и Мики тоже очень пострадал. Дюран уже успел отворить дверцу, быстро обмотал вокруг его шеи веревку и вытащил его из клетки. Мики был весь в крови и, полуслепой, стоял около него, едва держась на ногах. Из рта у него текла багровая струя. Увидав его, подошедший к клетке белый молодой человек вдруг с ужасом вскрикнул.

А затем, не успев даже перевести дыхание, он вдруг стал кричать с какой-то странной интонацией, в которой в одно и то же время слышались и изумление, и жалость, и любовь:

– Мики! Боже мой! Мики! Мики!

Голос его долетел до сознания Мики, точно из какой-то глубокой недостижимой дали. И, несмотря на тяжкую боль во всех членах и на мучительно нившие раны, он наконец догадался, чей это был голос.

Это был тот самый голос, который когда-то сопровождал его в его снах, тот голос, которого он так алчно ждал и к которому стремился, зная, что все-таки рано или поздно он его услышит! Голос Чаллонера, его хозяина!

Он упал перед ним на живот и стал жалобно скулить, стараясь увидеть его самого сквозь застилавшую глаза кровавую пелену; лежа на животе, израненный чуть не до смерти, он все-таки ударял хвостом о землю, стараясь убедить его в том, что он его узнает. А затем, к величайшему изумлению всех присутствовавших, Чаллонер вдруг опустился на колени перед собакой, обнял ее, и окровавленный язык Мики стал лизать ему руки, лицо и одежду.

– Мики, Мики, Мики!

Рука Дюрана тяжело опустилась на плечо Чаллонера.

Для Чаллонера это прикосновение было точно каленое железо. В одно мгновение он вскочил на ноги и посмотрел зверолову прямо в лицо.

– Это моя собака! – воскликнул он, стараясь не дать своему гневу прорваться наружу. – Эта собака принадлежит мне, а вы – вы можете убираться к черту!

И затем, не имея уже больше сил, чтобы сдерживать в себе желание отомстить, он размахнулся кулаком и из всех сил ударил им Дюрана прямо по лицу. Тот упал. Чаллонер с минуту постоял около него, но он не шелохнулся. Тогда Чаллонер резко повернулся к Граус-Питу и к самой толпе. Мики все еще ползал у его ног и ластился к нему. И, указав пальцем на собаку, Чаллонер крикнул так громко, чтобы его могли услышать все:

– Это моя собака! Я не знаю, откуда этот человек достал ее. Но только собака эта моя. Если не верите, то смотрите сами. Глядите, как она лижет мне руки. Разве она стала бы лизать руки ему! А потом – обратите внимание на это ухо. На всем севере не найдется второго уха с таким вырезом. Я потерял эту собаку почти год тому назад, но по этому уху я всегда узнал бы ее из целых тысяч. Клянусь вам в этом! Если бы я только знал...

Он стал расталкивать локтями толпу и протискиваться сквозь нее, уводя за собою Мики за веревку, к которой привязал его Дюран. Затем он отправился прямо к Мак-Доннелли и рассказал ему обо всем, что произошло, и как в прошлом году весной Мики и медвежонок свалились у него с лодки в реку и были унесены течением неизвестно куда. Заявив формальным порядком о своей находке, он возвратился к себе домой, в ту избушку, в которой остановился на время своего пребывания в Форт-Огоде.

Через час он уже сидел у себя на скамье и держал голову Мики обеими руками у себя на коленях и разговаривал с ним, как с равным себе. Затем он промыл и перевязал ему раны, и Мики теперь мог ясно видеть уже все. К счастью, глаза его не пострадали. И теперь Мики глядел прямо в лицо своему хозяину и стучал по полу толстым хвостом. Оба целиком отдались своему свиданию и уже не слышали ни шума происходившей снаружи гулянки, ни криков мужчин, ни взвизгиваний подростков, ни смеха женщин, ни непрерывного воя и лая собак. В глазах у Чаллонера светилось мягкое, ласковое выражение, и он был рад, что нашел наконец своего друга.

– Мики, старина, ты не забыл меня, нет? Ты хорошо вспомнил, кто я такой? Ты был тогда еще кривоногим щенком, но все равно я уверен, что ты меня еще не забыл. Ты помнишь, как я собирался отвезти тебя и медвежонка к одной девушке? Я тогда еще говорил тебе, что эта девушка – ангел, что она будет любить нас с тобой до гробовой доски и все такое прочее? Ну так я должен тебе признаться, что я даже рад, что произошло это приключение и что ты тогда исчез. Ведь она не осталась прежней, нет! Боже мой, Мики, ты только подумай, ведь за мое отсутствие она вышла замуж, и у нее уже есть ребенок! Ты только представь себе, Шут Иваныч, уже есть ребенок! Так вот ты теперь и сообрази, как она после этого могла бы заботиться о тебе и о медвежонке. Вообще все, голубчик, переменялось. Надо думать, что и я сам стал другим. Ведь три года в этой замечательной стране, где легкие могут лопнуть от одного только того, что ты имел неосторожность выпить на улице холодной воды, и меня тоже очень изменили. Я вернулся сюда, но не прожил и одной недели, как меня уже потянуло отсюда вон. Да, голубчик, меня охватила здесь ужасная тоска. Зачем я вернулся? Конечно, теперь мы с тобой застрянем в этом краю уже навсегда. Но что делать? Ты отправишься со мной на тот новый пост, на который меня назначила компания, а теперь – давай лапу! Ведь мы с тобой друзья! Понимаешь, приятель, старые товарищи!

Глава XXI

Поздно ночью, когда пиршество в Форт-Огоде уже окончилось, фактор Мак-Доннель прислал за Чаллонером. Тот уже собирался ложиться спать, когда мальчик-индеец ворвался к нему в дверь и передал ему записку. Он посмотрел на часы. Было уже одиннадцать. Зачем он мог бы понадобиться фактору в такой поздний час? Лежа на животе около теплой печки, Мики задумчиво следил за тем, как его вновь обретенный хозяин стал натягивать на себя сапоги.

– Вероятно, какая-нибудь история с этим чертом Дюраном, – проворчал Чаллонер, глядя на израненную собаку. – Ну уж если он так хочет вернуть тебя к себе назад, то пусть помнит, что не на такого напал. Ты, Мики, мой и больше ничей.

Мики заколотил твердым хвостом по полу и подполз к хозяину с выражением полной молчаливой покорности. Оба вместе они вышли из дому и утонули в темноте холодной ночи.

Светило множество звезд, и заходила ущербавшаяся луна. Четыре огромных костра, на которых днем жарились для пиршества олени, все еще ярко догорали. На опушке окаймлявшего Форт-Огод леса сверкали рубины от множества других, более мелких огней, а за ними смутно вырисовывались очертания юрт и шалашей. Здесь расположились ночлегом все триста индейцев и метисов, приехавших на праздник из глухих лесных берлог. Почти все они уже спали. Даже собаки успокоились после целого дня волнений и объедания.

Чаллонер прошел мимо больших костров, с которых еще не успели снять огромных вертелов. Мики обнюхал свежие кости, но на них уже не было и признака тех двух тысяч фунтов мяса, что были изжарены днем. Мужчины, женщины, дети и собаки набили им себе желудки до отвала и съели последние остатки. В тишине холодной ночи воцарилось молчание бога желудка Мутаи, того самого индейского бога, который каждый вечер наедается до отвала, пока наконец не заснет. Это он так околдовал своими чарами весь Форт-Огод, затерявшийся в степных даях за три тысячи миль от первого цивилизованного местечка.

Комната фактора была еще освещена. Шотландец Мак-Доннель нервно потягивал свою трубку. В его обветренных чертах появилось озабоченное выражение, когда Чаллонер, все время не спуская глаз с вошедшего с ним Мики, сел на предложенную ему табуретку.

– Здесь был Дюран, – начал фактор. – У него очень озлобленное настроение. Я боюсь крупных недоразумений. Если бы вы еще не ударили его...

Чаллонер повел плечами и стал набивать себе трубку.

– Видите ли, вы не вполне представляете себе положение в Форт-Огоде, – продолжал Мак-Доннель. – Здесь на Новый год происходят большие собачьи бои вот уже пятьдесят лет подряд. Это теперь сделалось уже как бы органической частью самого Форт-Огода и вошло в его историю. Поэтому-то за пятнадцать лет моего пребывания здесь я и не пытался прекратить этого обычая. Я думаю, что вышла бы своего рода революция, если бы я сделал попытку в этом направлении. Готов побиться об заклад, что половина моих охотников и звероловов после этого перешла бы со всеми своими мехами в соседний форт, чего я вовсе не желал бы. Вот почему все симпатии и лежат в данном случае на стороне Дюрана. Даже Граус-Пит, его соперник, и тот говорит, что дурак он будет, если так и отпустит вас на все четыре стороны. Дюран настаивает на том, что эта собака его.

Мак-Доннель кивнул головою в сторону Мики, свернувшегося калачом у ног Чаллонера.

– Значит, он лжет, – спокойно ответил Чаллонер.

– Он говорит, что купил ее у Жака Лебо.

– Значит, Лебо продал не принадлежавшую ему собаку.

Мак-Доннель помолчал немного, потом вздохнул и продолжал:

– Но я вас, Чаллонер, просил прийти сюда не по одному этому делу. Сегодня вечером Дюран рассказал мне одну вещь, от которой у меня кровь застыла в жилах. Ведь вы отправляетесь со своей партией к посту у Оленьего озера завтра же утром, не правда ли?

– Да, завтра утром.

– В таком случае не смогли ли бы вы по дороге заехать к Джексонову Колену? Я вам дам лишнюю запряжку и индейца на подмогу. Вы бы таким образом потеряли неделю, но все-таки смогли бы еще нагнать свою партию прежде, чем она достигла бы Оленьего озера. А мне бы вы этим сделали большое одолжение. Вы даже себе и представить не можете, какая ужасная вещь там произошла!

И он снова взглянул на Мики.

– Ах, боже мой!.. – вздохнул он...

Чаллонер подождал, когда он заговорит снова. Ему показалось, что он даже заметил судорогу, неожиданно пробежавшую по всему его телу.

– Я бы сам туда поехал, – продолжал фактор. – Я даже должен был бы туда поехать сам, но приходится сидеть дома из-за этого ужасного кашля. Боже мой!.. – И глаза его вдруг наполнились ласковыми слезами. – Да ведь я эту Нанетту Лебо знал пятнадцать лет тому назад, когда она была еще вот такая! Я, Чаллонер, следил за тем, как она росла. Не будь я женат, я непременно влюбился бы в нее. Вы знаете ее, Чаллонер? Встречали вы когда-нибудь Нанетту Лебо?

Чаллонер нахмурился.

– Знал одну Нанетту, – мрачно ответил он, – только не Лебо.

– Это не женщина, а ангел, – продолжал Мак-Доннель, – если только Бог вообще когда-либо создавал ангелов. Вместе со своим отцом она жила за Джексоновым Коленом. Отец ее замерз, переправляясь в одну темную ночь через озеро Красного Глаза. Я всегда думал, что после этого Жак Лебо насильно заставил ее выйти за него замуж. А может быть, она и не знала, что это был за человек, или же попросту, как сирота, до смерти испугалась перспективы остаться совершенно одной. Но как бы то ни было, а она вышла замуж за этого самого Лебо. В последний раз я видел ее пять лет тому назад. Время от времени до меня доходили очень дурные вести об этом браке, но я не придавал им особого значения. Я не мог себе представить, чтобы Лебо бил ее и просто по капризу бросал ее об пол. Я не верил тому, будто он таскал ее за волосы по снегу и так далее. Вы сами знаете, сколько слухов всегда ходит по свету, а дело было за семьдесят миль отсюда. Но теперь я всему этому сразу поверил. Дюран как раз прибыл сюда оттуда, и я думаю, что он мне рассказал всю чистую правду, – конечно потому, что ему выгоднее было бы оставить эту собаку при себе.

И он опять указал подбородком на Мики.

– Видите ли, – продолжал он, – Дюран передал мне, что Лебо поймал собаку в одну из своих ловушек, взял ее к себе и мучил по всей форме усвоенного им метода, чтобы подготовить ее к поединку. Когда же Дюран прибыл на место, то собака ему так понравилась, что он будто бы купил ее у самого Лебо. Нанетта же в это дело вмешалась в самую ту минуту, когда Лебо, чтобы показать товар лицом, довел ударами собаку до белого каления. Лебо будто бы сбил Нанетту с ног, стал колотить ее ногами и таскать за волосы. Тут-то, защищая свою любимую хозяйку, собака вдруг накинулась на Лебо и загрызла его до смерти. Я думаю, что Дюран рассказал мне чистую правду из одного только страха, что я велю немедленно же застрелить эту собаку, как только узнаю, что она прикончила Лебо, и как только сочту, что она вообще представляет собою опасность для людей. Теперь я прошу вас проехать в тот район, к Джексонову Колену. Я хотел бы, чтобы вы толком разузнали, в чем там дело, и помогли Нанетте Лебо чем можно, а мой индеец доставит ее сюда, в Форт-Огод.

Во время рассказа Мак-Доннель с чисто шотландским стоицизмом старался подавить в себе всякое волнение. Он говорил совершенно спокойно. Но какая-то странная дрожь то

и дело заставляла его подергивать плечами. Чаллонер пристально наблюдал за ним, и это его несколько смущало.

– Вы хотите сказать, что Мики, вот эта самая собака, загрызла человека насмерть?

– Да. По словам того же Дюрана. Загрызла точно так же, как и собаку Граус-Пита на сегодняшнем поединке. Уф!..

Но когда глаза Чаллонера медленно опустились на Мики, то фактор добавил:

– Должен сознаться, что собака Граус-Пита была все-таки лучше того человека. Если все то, что мне стало известно про Лебо, – правда, то лучше уже ему не воскресать из мертвых. Чаллонер, серьезно, если вам не очень трудно и если бы вы смогли проехать именно в указанном мною направлении и повидать Нанетту, то вы сделали бы большое одолжение.

– Хорошо, – ответил Чаллонер, опуская руку на голову Мики. – Я поеду!

Еще целых полчаса Мак-Доннель рассказывал ему о том, что слышал он про Нанетту Лебо. И когда Чаллонер наконец поднялся, чтобы проститься с ним и уйти, то фактор проводил его до самой двери.

– Берегитесь Дюрана, – предупредил он его. – Собака для него дороже всего того, что он сегодня выиграл, а ставка, говорят, была не маленькая. Правда, он обыграл Граус-Пита, но они оба теперь почему-то стали действовать заодно. Уж я получил об этом самые точные сведения. Так что будьте осторожны!

Выйдя на открытое место, где ярко светили звезды, Чаллонер на минуту остановился. Мики положил ему лапы на грудь, так что голова собаки пришлось почти вровень с его плечами.

– Ну что, приятель? – мягко обратился к Мики Чаллонер. – Помнишь, как ты тогда вылетел из лодки? Припомни-ка скорее! Вы с медвежонком были связаны вместе, а на тебя как раз напала дурь баловаться в то самое время, как мы переезжали через пороги. Ну, сообразил теперь, как было дело? Клянусь, эти проклятые пороги и меня тогда чуть было тоже не погубили. Я уж так и решил, что вы оба погибли. А интересно, что случилось потом с медвежонком? А?

Мики слегка заскулил ему в ответ, и все тело его задрожало.

– А с тех пор ты, говорят, человека загрыз, – добавил Чаллонер, как будто еще не совсем веря, что такое происшествие действительно имело место. – И мне надо теперь вести тебя обратно к этой даме... Вот это-то и есть самое удивительное во всей этой истории. Ты возвращаешься обратно к ней. Но что, если она вдруг прикажет тебя убить?..

Он сбросил с себя передние лапы Мики и вошел к себе в хижину. Но уже на пороге Мики глухо заворчал. Уходя, Чаллонер только притушил огонь в лампе и теперь при неверном, коптившем освещении вдруг увидел у себя Анри Дюрана и Граус-Пита, которые, видимо, дожидались его прихода. Он поднял фитиль и кивнул им головой.

– Добрый вечер! – сказал он им. – Поздновато же вы ходите в гости!

Тупое лицо Граус-Пита не изменилось. Чаллонера поразило, насколько голова и плечи этого метиса придавали ему сходство с моржом. Глаза Дюрана были мрачны, а лицо заметно припухло на том месте, куда ударил его Чаллонер. Ощетинившись и напрягши все свои мускулы до твердости канатов и все время потихоньку ворча, Мики забился под койку.

– Мы пришли за собакой, – сказал Дюран, указав пальцем на Мики.

– Вам не удастся получить ее, Дюран, – ответил ему Чаллонер, стараясь казаться как можно более спокойным при сложившейся обстановке, от которой холодная дрожь пробежала у него по спине.

Он все еще никак не мог объяснить себе, почему именно вместе с Дюраном пришел и Граус-Пит. Оба они были великанами, даже более того – чудовищами. Он инстинктивно измерял расстояние между собой и ими. Их разделял всего только один маленький, хрупкий столик.

– Я жалею, что погорячился сегодня, Дюран, – продолжал он, – и по недоразумению нанес вам обиду. Здесь не было вовсе вашей вины, и я прошу у вас извинения. Но собака все-таки моя. Я потерял ее у Джексонова Колена, и если какой-то там Жак Лебо поймал ее в свой капкан и действительно продал ее вам, то это еще не значит, что он продал вам свою вещь. Но ради справедливости я согласен вернуть вам ваши деньги. Сколько вы дали за нее Лебо? Во сколько вам обошлась ее покупка?

Граус-Пит потоптался на месте. Дюран подошел к самому столу и уперся в него руками. Чаллонеру показалось странным, как это он мог сбить с ног такого великана одним ударом.

– Нет, – ответил спокойно Дюран, – собака не продажная.

Голос его звучал так низко, точно от волнения он затруднялся говорить или же его душила затаенная ненависть. Чаллонер заметил, как толстые жилы надулись у него на руках, когда он сжал кулаками край столика.

– Мсье, – продолжал Дюран, – мы пришли за собакой. Намерены ли вы отдать нам ее добровольно?

– Я уже вам сказал, что уплачу за нее все что следует, Дюран, – ответил Чаллонер. – Могу даже немного добавить.

– Нет. Собака моя – и кончено! Отдаете вы мне ее сейчас?

– Нет!

Не успело еще это слово слететь с губ Чаллонера, как Дюран вдруг сразу всей тяжестью навалился на стол. Чаллонер не ожидал этого маневра. Пользуясь неожиданностью произведенного впечатления, рыча от бешенства и ненависти, зверолов накинулся на Чаллонера, и тот упал прямо на пол под тяжестью навалившегося на него великана. Столик вместе с лампой опрокинулся. Пламя вспыхнуло и погасло, и вся хижина погрузилась в темноту, лишь слегка разжиженную светом звезд, проникавшим через единственное окно.

В ту же минуту на них обоих навалилась еще и вся тяжесть Граус-Пита, и его большие пальцы стали шарить в темноте по телу Чаллонера, отыскивая его шею. Он наткнулся сперва на бороду Дюрана, а затем рука его перескользнула на Чаллонера и, наконец, нашла то, чего искала. Но... хватка руки его не состоялась. С его губ вдруг сорвался отчаянный, раздирающий душу крик, и одновременно с этим воплем в темноте раздался вдруг звук сомкнувшихся челюстей, впившихся в какую-то массу. Дюран услышал этот звук и, напрягши все свои гигантские силы, отцепился от Чаллонера и быстро вскочил на ноги. Чаллонер как молния бросился к своей койке и, вытащив из-под подушки револьвер, направил его на своих врагов.

Все это произошло необыкновенно быстро, всего в несколько секунд. Не прошло еще и полминуты с того момента, как был опрокинут стол, как Чаллонер уже с ужасом представлял себе другую сцену, свидетелем которой был у Нанетты Дюран. И вдруг теперь, опять, в этой темной избушке...

Он услышал стон и звук падения чьего-то тела.

– Мики! Мики! – заорал он во все горло. – Сюда! Сюда!

Он бросил револьвер и кинулся к двери, широко распахнув ее перед собою.

– Прошу вас, – обратился он к своим героям. – Убирайтесь вы отсюда поскорее! Уходите скорее, иначе он вас обоих съест!

Какая-то тень пробежала мимо него и утонула в объятиях ночи. Он знал, что это был Дюран. Потом одним прыжком он бросился к тням, катавшимся в одной общей массе на полу, и обеими руками вцепился в загривок Мики, стараясь оттащить его от Граус-Пита и крича на него изо всех сил. Затем он увидел, как Граус-Пит подполз к двери, поднялся на ноги, на мгновение черной тенью выделился на звездном небе и вдруг утонул в зиявшей перед ним темноте. Затем Чаллонер коснулся рукой разгоряченного тела Мики, и мускулы собаки вдруг ослабели, и она завилась ему хвостом. В течение целых двух или трех минут

Чаллонер продолжал стоять на коленях перед Мики, а потом поднялся на ноги, запер дверь и зажег снова лампу. Все это время Мики не шелохнулся. Он лежал, вытянувшись на животе во всю длину, и, положив голову между передними лапами, глядел на Чаллонера так, точно хотел задать или разрешить какой-то тревоживший его вопрос.

Чаллонер протянул к нему обе руки.

– Мики! – позвал он его к себе.

В одно мгновение Мики вскочил на ноги и прыгнул к нему на грудь, а Чаллонер обнял собаку, стал ее ласкать и еще долго не мог оторвать глаз от пола. Там виднелись какие-то темные лужи и куски разодранной одежды.

– Мики, дружище! – наконец воскликнул Чаллонер. – Как мне тебя благодарить!

Глава XXII

Партия Чаллонера, состоявшая из трех запряжек и четырех человек, на следующее же утро двинулась на северо-запад, имея своим конечным пунктом вновь учрежденный пост у устья реки Кокрейны, впадавшей в Оленьё озеро. Через час после ее отправления выехал на пяти собаках и сам Чаллонер, направляясь к Джексонову Колену. С ним следовал один из индейцев, состоявших на службе у Мак-Доннеля. Этому индейцу было поручено доставить Нанетту в Форт-Огод.

Мики вывели из хижины и привязали к задку саней только в самый последний момент перед отъездом. Увидав пятерых запряженных собак, усевшихся на задние ноги и ожидавших сигнала к отправлению, он ошетинился и зарычал. Но скоро под влиянием нескольких успокоительных слов Чаллонера он понял, что эти собаки не были его врагами. В пути же он от подозрительной терпимости скоро перешел к тому, что стал даже интересоваться, как они тянули сани и как вообще себя держали. Запряжка была дружная, в ней нисколько не было волчьей крови, и потому собаки с ним не грызлись.

События последних двадцати четырех часов так быстро развернулись перед Мики, что его настроение все время оставалось тревожно-напряженным даже и тогда, когда Форт-Огод, наконец, далеко остался позади. Мозг собаки был наполнен целым калейдоскопом странных и захватывавших картин и образов. Где-то далеко-далеко, почти совершенно неразлично, перед ним вставали образы тех дней, когда он еще не был пленником у Жака Лебо. Даже воспоминания о Ниве стали как-то сами собой стираться под натиском впечатлений, связанных с хижинкой Нанетты и Форт-Огодом. И картины, которые вырисовывались теперь в его мозгу, все время представляли перед ним никогда раньше не виданных им людей, собак и множество еще других вещей, назначения которых он еще не понимал. Тот мир, который Мики представлял себе теперь, вдруг оказался для него заполненным целыми полчищами разных Анри Дюранов, Граус-Питов и Жаков Лебо, тех двуногих зверей, которые били его, мучили и заставляли жестоко защищаться, чтобы он не потерял свою жизнь. В своем мщеннии он уже не раз попробовал человеческой крови. Теперь он невольно поджидал таких же новых встреч. Запечатлевшиеся в его сознании образы говорили ему о том, что эти злобные создания находятся везде и что их надо остерегаться. Порой ему казалось, что они так же бесчисленны, как и волки; и тогда он видел перед собой толпу, собравшуюся вокруг той клетки, где он загрыз своего соперника.

Во всем этом взбаламученном и волновавшем его море призраков выделялись только один Чаллонер, одна Нанетта и один ее ребенок. Все остальное было бесформенным хаосом, полным коварных угроз. Два раза случалось так, что индеец подходил к Мики сзади, и оба раза Мики резко оборачивался со свирепым рычанием назад. Чаллонер видел все это и понимал.

Но даже и из тех образов, которые вставали в разгоряченном мозгу у Мики, с особой для него желательностью резко выделялся только один, наиболее ясный и определенный. Это был образ Нанетты. Да, она выделялась резче, чем даже сам Чаллонер. В Мики жила еще память о ее нежных руках, об ее мягком, ласковом голосе; о запахе, исходившем от волос, одежды и тела; и ему казалось, что ребенок — часть женщины и так же неотделим от нее, как и палец от руки. И эту-то часть сознания Мики Чаллонер и не мог никак в нем понять, и она-то и озадачивала его в один памятный вечер, когда он остановился по пути и расположился на ночевку. Он долго сидел у костра, делал попытки вернуть былую дружбу тех дней, когда Мики был еще щенком. Но ему это удавалось только отчасти. Казалось, Мики ничего не хотел, кроме отдыха — так напряжена была вся его нервная система. Все время собака посматривала на запад и ловила носом долетавший оттуда ветер. Он внюхивался в

него и тихо скулил. И так сильно было недоумение Чаллонера, что он решил привязать его на ночь около своей палатки.

Затем Чаллонер лег спать, а Мики все еще продолжал сидеть и смотреть на запад. Было около десяти часов, и ночь была так тиха, что треск обуглившейся в костре ветки казался Мики похожим на щелканье бича. Глаза собаки были широко открыты. Мики мог ясно различать закутанную в тяжелые одеяла фигуру индейца, недвижно спавшего у костра. Несколько далее расположились упряжные собаки, как бы застывшие в тех ямках, которые они вырыли для себя в снегу. Луна светила на горизонте, и какой-то волк уже начинал подвывать, вытянув морду к ее светлomu, бесстрастному полублину. И этот звук долетел до слуха Мики, подобно отдаленному призыву, зажигая в его крови новый неведомый огонь. Ему вдруг захотелось завывать и самому. В нем проснулось желание, откинув голову, бросить такой же вызов лесам, луне и звездам. Но он только раскрыл пасть и тотчас же закрыл, и косо поглядел на палатку, в которой спал Чаллонер. Затем Мики тяжело опустился на снег. Но его голова по-прежнему оставалась поднятой и готовой ко всему. Он слушал. Уже луна опустилась совсем близко к горизонту; догорали костры; от них остались одни только тусклые, словно дремавшие угольки. Стрелка на часах у Чаллонера уже зашла за полночь, а Мики все еще лежал, широко открыв глаза и смутно волнуясь от странного чувства, которое вдруг овладело всем его существом. Прошло еще несколько времени, и тот зов, который шел к нему из глубины ночи, теперь уже сделался его безграничным владыкой. Он перегрыз свою веревку. Он не мог больше противиться зову женщины Нанетты и ее ребенка.

Оказавшись на свободе, Мики втянул в себя воздух у края палатки Чаллонера. Голова у него повисла. Хвост тяжело опустился вниз. Он знал, что в этот час он изменяет тому хозяину, которого так долго ждал и который все время так ярко являлся ему в его сновидениях. Это было в нем не рассудочной деятельностью, а просто говорил в нем инстинкт. Но ведь Мики вернется назад! Убеждение в этом неясно брезжило в его мозгу. Но теперь – вот сейчас – ему нужно отправляться во что бы то ни стало, и он быстро шарахнулся в темноту. Крадучись, как лисица, пробрался он мимо спавших собак и выпрямился лишь тогда, когда отошел от лагеря на такое пространство, что его нельзя было бы уже догнать. При неверном свете ущербавшейся луны серая неуловимая тень быстро помчалась на запад. В его беге не было ни заминки, ни колебаний. Раны ему не мешали, тело как-то сразу все окрепло, и его легкие задышали так же глубоко, как и у самого сильного волка. По дороге зайцы выскакивали у него прямо из-под ног, у самого его носа появлялся вдруг запах от норки, но все это не задерживало его, и он ни на шаг не отступал от намеченной им цели. Безошибочное чувство направления вело его через болота и глухие леса, через озера и потоки, мимо кустарников и обнаженных мест, по которым только что прошел лесной пожар. Только один раз он остановился, чтобы поплакать из ручейка, быстрое течение которого не давало воде замерзнуть. Даже и тут он лишь наспех сделал несколько глотков – и помчался дальше. Луна спускалась все ниже и ниже, пока наконец не закатилась совсем, – ушла куда-то в неведомые края. Стали меркнуть и гаснуть звезды. Маленькие погасли сразу, а большие еще долго казались дремавшими и не хотели уснуть. Над лесными просторами протянулась белесоватая мгла.

Мики покрыл целых тридцать пять миль в шесть часов с полночи и до рассвета.

И вдруг он остановился. Упав на живот за выступом скалы, на самой вершине горного кряжа, он стал следить за рождением дня. На губах у него появилась пена, он тяжело дышал. Он устал и решил отдохнуть. Матовое золото зимнего восхода стало наконец окрашивать восточную сторону неба. А затем, точно развернувшийся сразу веер, прыснули из-за холмистого горизонта первые лучи яркого солнца. Мики поднялся на ноги и взглянул на чудо пробуждавшейся земли. Позади него в пятидесяти милях остался Форт-Огод, перед ним в двадцати – заветная хижина.

По мере того как таяли мили расстояния между ним и домиком Нанетты, он опять стал чувствовать ту подавленность, которая так удручала его у Чаллонера. Но все же теперь была какая-то разница. Он окончил свой пробег. Он внял таинственному зову. И теперь, когда он почти достиг своей заветной цели, его вдруг охватил какой-то новый для него, неведомый страх: как его там примут? Ибо там, у хижины, он загрыз человека, – и там жила его вина. И бег его замедлился. Было уже позднее утро, когда он находился всего в одной только полумиле от дома Нанетты и ее ребенка. Уже чуткие ноздри его уловили слабый запах дыма, выходившего из ее трубы. Но он не пошел по этому запаху, а стал кружить, как волк, продвигаясь вперед все медленнее и все с меньшей уверенностью, пока наконец не попал на ту небольшую расчистку среди леса, где для него произошло так много событий. Он увидел ту клетку, в которой Жак Лебо держал его взаперти; дверца в клетке все еще была отворена и, вероятно, болталась так с тех самых пор, как отворил ее Дюран. На том же месте, где он бросился на Лебо, еще до сих пор весь снег был примят, и при виде всего этого Мики жалобно заскулил.

Теперь он стоял прямо против самой двери в избушку; она была отворена настежь. Присутствие жизни не проявилось ни в чем, но Мики чувствовал ее своим обонянием. Кроме того, из трубы шел дым. Мики тихо пополз к открытой двери. В его крадущихся движениях чувствовалось унижение – мольба о прощении, если только он сделал не то, что следовало, и просьба к тем существам, которых он так любил, чтобы они его не прогоняли.

Он приблизился к самой двери и заглянул в глубину избушки. Комната была пуста. Нанетты там не было. Его уши насторожились, тело напряглось, и он стал прислушиваться к мягкому, ворковавшему звуку, который доносился до него из глубины. Он проглотил слюну и заскулил. Вслед за тем он вполз в самую хижину и, наконец, положил свою большую голову на край маленькой кровати. Он лизнул ее теплым языком и потом с глубоким вздохом растянулся около нее на полу. Послышались шаги. Вошла Нанетта с какими-то одеялами в руках и, не заметив его, пронесла их в соседнюю комнату. Потом вернулась и вдруг остановилась как вкопанная. Затем, издав короткий крик, она подбежала к нему вплотную. И пес почувствовал, как ее ласковые руки стали обнимать его за шею, и, положив ей морду на грудь, он вдруг не выдержал и завизжал так, точно маленький щенок. Нанетта засмеялась, потом заплакала, ее маленький ребенок проснулся в колыбельке и стал громко кричать и дрыгать ногами, обутыми в шерстяные чулки.

«Ао-у-тайва-мукун», сказали бы индейцы. Это значит, что, когда уходит злой дух, наступает большое счастье. И действительно, «злой дух» ушел из жизни Нанетты, и она сразу же расцвела и поправилась так, как никогда раньше. В ее темных, лучистых глазах светился теперь какой-то новый огонек, она уже не была больше рабыней, стала свободной женщиной и матерью свободного ребенка, и новая заря жизни зажглась перед нею впереди. К ней, освободившейся от ярма поработителя, возвратилась снова ее молодость, и она испытывала теперь такое счастье свободы, о каком не смела даже и мечтать. У нее был ее ребенок, ей сулили радость и солнце, и звезды, и ветер, и этот снег, и грядущие весенние цветы, но самой прекрасной и счастливой звездой для нее была теперь надежда. И в первый же вечер Мики опять подошел к ней, когда она расчесывала свои волосы. Ведь он так любил прятать в них свою морду, так любил сладкий запах, исходивший от их густых прядей, и так ему нравилось класть свою голову ей прямо на колени! Это нежило его. А Нанетта, со своей стороны, его крепко обнимала, пожалуй даже еще крепче, чем своего ребенка. Ведь это он, вот этот самый Мики, принес ей желанные свободу, радость и надежду, на которые она перестала уже рассчитывать. Он сделал для нее то, что могли бы выполнить разве только ее брат или отец, если бы действительно существовали на свете. На второй день после возвращения Мики к Нанетте, как раз в то самое время, когда Чаллонер в темноте приближался к ее избушке, случилось так, что у нее были распущены волосы и она ласково разговаривала

с собакой. Увидя ее во всей красоте, с тихим отблеском лампового света в темных глазах, Чаллонер вдруг почувствовал, будто земля содрогнулась у него под ногами и будто все эти годы он работал и трудился так далеко от всего мира и от людей именно только для того, чтобы дожидаться наконец этой минуты, о которой он перестал даже и мечтать.

Глава XXIII

С прибытием Чаллонера к Нанетте для Мики уже не оставалось больше ни малейшей мрачной тени. Он не задумывался, как все это произошло, и, конечно, не мог бы даже и представить себе того, что могло бы ожидать его впереди. Он жил только настоящим – теми драгоценными часами, в которые все эти любимые им люди находились вместе. Тем не менее где-то далеко, в самой глубине его сознания, среди всех тех воспоминаний, которые срослись с его душой, в нем все еще гнезился образ медведя Нивы – его старого товарища, брата, соучастника стольких совместных приключений. И он вспоминал о той холодной, занесенной снегом берлоге, где Нива заснул долгим и таинственным сном, который так походил на смерть. Но пока что он все-таки жил одним только настоящим. Часы вытягивались в целые дни, а Чаллонер все еще не уезжал и не отсылал Нанетту с индейцем в Форт-Огод. Индеец вернулся в факторию один, с запиской на имя Мак-Доннеля, в которой Чаллонер сообщал, что ребенок что-то стал покашливать и что вследствие этого путешествие должно быть отложено до более теплой погоды. Далее он просил, чтобы вместе с этим индейцем ему прислали продовольственных запасов, которые пришли уже к концу.

Несмотря на то что после Нового года наступили сильнейшие холода, Чаллонер расположился в палатке на опушке леса, в каких-нибудь ста ярдах от хижины, и Мики стал делить свое время между нею и палаткой. Это были для него удивительно счастливые дни! А для Чаллонера...

Мики видел все, хотя ничего не мог понять. По мере того как из каждых семи дней слагалась неделя, а из недель – две, три и так далее, в глазах у Нанетты появился какой-то странный огонек, а в голосе какая-то новая, особо звеневшая, трепетная нотка.

И вдруг в один прекрасный день Мики поднял глаза со своего места у колыбели ребенка – и увидел Нанетту в объятиях своего хозяина. Она смотрела ему прямо в лицо, ее глаза сверкали, как звезды, и Чаллонер говорил ей что-то такое, от чего ее лицо вдруг сразу все преобразилось и стало еще более красивым. Мики это удивило. Но он удивился еще больше, когда Чаллонер от Нанетты перешел к колыбели и взял ее ребенка к себе на руки, а в это время женщина, смотря на них обоих со свойственным только ей одной выражением глаз, вдруг закрыла лицо руками и разрыдалась. В горле у Мики уже назревало рычание, но Чаллонер в эту минуту обнял и Нанетту, а ее руки обвили вокруг его шеи и ребенка, и женщина зарыдала снова... По какому поводу – это превосходило всякое понимание Мики. И, однако, он понимал, что рычать или бросаться здесь было вовсе не нужно. Он понял, что в хижину вошло еще какое-то новое начало, проглотил слюну и стал смотреть, что будет дальше. Через минуту Нанетта уже стояла рядом с ним на коленях и обнимала и его за шею точно так же, как перед этим обнимала и мужчину. А Чаллонер бегал кругом и прыгал, как мальчик, не выпуская ребенка из рук. Потом он тоже опустился к Мики и вдруг воскликнул: – Мики! Дружище! Ведь у меня теперь есть семья!

И Мики сделал усилие, чтобы его понять, но так и не понял. В тот вечер, после ужина, он видел, как Чаллонер расплетал у Нанетты косы и расчесывал ей волосы. Оба они смеялись, как двое счастливых детей. Мики сделал еще большее усилие, чтобы понять, и опять ровно ничего не понял.

Но когда Чаллонер, перед уходом в свою палатку, еще раз обнял и поцеловал Нанетту и стал ласкать ее и гладить по голове, а Нанетта закрыла лицо руками, заулыбалась и стала кричать от радости, то... Мики наконец понял! Он увидел, что счастье привалило сразу ко всем тем, кто находился в избушке, – и успокоился.

Теперь, когда все устроилось так благополучно, Мики мог смело вновь приняться за охоту. Жажда приключений вновь охватила его, и радиус его экскурсий с каждым днем стал

удлиняться все более и более. Он опять пошел по старой линии капканов Лебо. Но теперь там все уже пришло в упадок, пружины нигде не были натянуты, и Мики перестал уже остерегаться, как это было раньше. Он даже несколько растолстел. Ему уже не чудилось больше опасности в каждом порыве ветерка. На третью неделю пребывания Чаллонера у Нанетты, в тот самый день, который отметил собою в природе переход от холодов к началу теплой погоды, Мики натолкнулся на заброшенную в болоте западню. Это было в добрых десяти милях от дома. Еще Лебо в свое время поставил ее на рысь, но никакой зверь еще не коснулся в ней приманки – совершенно замерзшего, как камень, куска оленьего мяса. Мики с любопытством обнюхал эту приманку. Он уже не предчувствовал опасности. Для него уже не существовало больше угроз. Все в мире было теперь великолепно. Он смело потянул за мясо – и вдруг громадное бревно обрушилось на него с такой силой, что, казалось, могло проломить ему спину. Удар лишь немного промахнулся. Чуть не убитый до смерти, тяжело ушибленный, он застрял в ловушке на целых двадцать четыре часа. Только после отчаянной борьбы за жизнь ему наконец удалось выкарабкаться из-под тяжести бревна. Потеплело. Выпал легкий снежок, засыпавший все следы и тропинки. Мики оставлял за собою по талому снегу дорожку, походившую на след выдры, так как он не мог двигать задними конечностями. К счастью, спина его не была переломлена; тяжесть удара лишь временно парализовала его задние ноги.

Он потащился по направлению к хижине, но каждый шаг его был исполнен таких мучений и само продвижение совершалось так медленно, что за час ему удалось продвинуться вперед всего только на какую-нибудь четверть мили. Следующая ночь застигла его только на второй миле от места происшествия. Он едва дополз до кустарника, который мог бы служить ему логовищем, и пролежал там до зари. Весь следующий день он не мог двинуть ни единым членом. На четвертый – он почувствовал некоторое облегчение. Но он не смог протащиться зараз хоть сколько-нибудь заметное пространство. Но добрый дух индейцев опять пришел ему на помощь, так как под вечер он натолкнулся на полуобглоданный волками остов оленя. Мясо промерзло насквозь, но Мики так и впился в него зубами. После этого он целых десять дней пролежал под грудой упавших деревьев, борясь там со смертью. Не будь найденной им падали, он, несомненно, издох бы. Затем он пополз далее и лишь в конце второй недели мог твердо стоять на ногах. Только на пятнадцатый день он возвратился наконец к хижине Нанетты.

Когда еще он приближался к расчистке, его вдруг охватило предчувствие какой-то серьезной перемены. Хижина стояла на месте. По внешнему виду она нисколько не изменилась за эти пятнадцать дней, но из ее трубы уже больше не поднимался дым и окна покрылись узорами от мороза. Снег лежал кругом девственным и чистым, как свежевывстиранная простыня. Мики нерешительно направился к двери. Никаких следов у крылечка не было. На пороге возвышался целый сугроб. Мики заскулил и стал царапаться в дверь. Ответа не последовало. Он прислушался. Изнутри не донеслось до него ни единого звука.

Он вернулся к опушке леса и стал ждать. Прождав целый день, в течение которого он то и дело возвращался к хижине, чтобы обнюхать все ее закоулки и углы, он вырыл себе на ночь ямку в свежевывпавшем снегу у самой двери и проспал в ней всю ночь. Настал новый день, серый и пустынный, – и все еще из трубы не поднимался дым и из-за бревенчатых стен не слышалось звуков. И тут Мики наконец понял, что Чаллонер и Нанетта с ребенком куда-то ушли.

Но он все еще надеялся. Он уже больше не прислушивался к звукам из хижины, нет, он почему-то решил теперь, что должен ожидать чего-то от леса. И он стал делать в нем по всем направлениям рекогносцировки, обнюхивая свежевывпавший снег, под которым могли скрываться следы, и ловя ветер своими чуткими ноздрями.

Под вечер, поймав по дороге зайца, он опять вернулся к хижине и проспал ночь в своем куточке около порога. Прошли третий день и третья ночь, в течение которой он вдруг услышал вой волков. Небо было чисто и все в звездах, и Мики вдруг почувствовал в себе непреодолимое желание им ответить. И он поднял полный тоски и скорби вой – и это была мольба о том, чтобы вернулся хозяин, чтобы Нанетта и ее ребенок возвратились назад. То не было откликом волкам, нет, в этом его зове слышались опасения, что они уже больше не придут никогда, и рыдало что-то похожее на безнадежность.

Его охватила такая тоска одиночества, равной которой он еще не испытывал никогда. Казалось, будто кто-то нашептывал его собачьей душе, что все то, что он видел и перечувствовал за последнее время, было лишь сном и что теперь он стоит лицом к лицу с подлинной действительностью – с его прежним миром, полным опасностей, беспредельной и всеобъемлющей пустоты и непрерывной, отчаянной борьбы за существование.

Его инстинкты, убаюканные лаской людей в этой хижине, заснувшие было в нем, теперь вновь обострились! Он опять ясно почувствовал острую, едкую дрожь перед грозящей опасностью, рождающуюся от одного только одиночества, и стал осторожным, как волк. На четвертый день он скользил по опушке леса, как уже настоящий хищник.

На пятый день он уже не спал около хижины, а нашел себе логовище в лесу, на расстоянии мили. В эту ночь он видел странные и тревожные сны. Он видел во сне высокий, обрывистый кряж, весь заметенный сугробами снега, где таилась темная, глубокая пещера. Он снова был со своим спутником прошедших дней – медведем Нивой. Он все старался разбудить его и даже ощущал во сне теплоту его тела и слышал сонное, добродушно-протестующее его ворчание. Затем он увидел, будто пробирается с Нивой по черносморозинному раю и, опять-таки вместе со своим другом, спасается от разъярившейся медведицы, во владения которой они осмелились войти. Он вдруг неожиданно проснулся и почувствовал, что весь дрожит, – и мускулы его напряглись. Он зарычал на темноту. Глаза его засветились в ней, как два огонька. В своем темном логове, под нагроможденными друг на друга деревьями, он стал звать к себе Ниву, скулить ему и еще долго вслушивался, не послышится ли от него ответ.

Он оставался в районе хижины еще около месяца. По крайней мере по разу в день, а часто и ночью, он возвращался к ней и обнюхивал ее углы и дверь. Но думал он больше о Ниве. В том году «тики-свао», то есть великое таяние снегов, наступило неожиданно рано, в самом начале марта. Солнце светило на совершенно безоблачном небе целую неделю. В воздухе потеплело. Снег стал под ногами совсем рыхлым, а на южных склонах таял и сбегал журчащими ручейками или скатывался вниз небольшими лавинами. В мире пробуждалась и трепетала новая радость. Все кругом запульсировало нараставшим биением весенних чар, и в душе у Мики стали постепенно возникать новые надежды, новые ощущения, новое вдохновение, которые были не чем иным, как могучим голосом все того же удивительного всемогущего инстинкта. Теперь Нива должен скоро проснуться!

Эта мысль поглотила его всего, как и могучий голос, который он наконец понял. О том, что Нива должен проснуться, ему пела журчавшая музыка весенних потоков, он слышал об этом в теплых ветрах, которые уже не были больше напоены свирепым холодом зимы, он ловил эту весть в тех животворящих ароматах, которые источала еще голая, но начинавшая уже оттаивать в апреле земля; ему твердил об этом и сырой, сладкий запах перегноя. Он был очарован. Все эти голоса звали его к Ниве. Да, теперь уже он знал наверное!

НИВА ДОЛЖЕН ПРОСНУТЬСЯ!

И он ответил на могучий призывный голос. Ничто на свете, кроме простой грубой физической силы, не смогло бы теперь удержать его на месте. И тем не менее он не пустился в путь тотчас же, как сделал это, когда бросил Чаллонера и помчался к Нанетте и ее ребенку. Тогда была у него определенная цель, чего-то надо было достигнуть реального, было нечто, что побуждало его приступить к непосредственному исполнению. Теперь же его влек без-

отчетный импульс, но отнюдь не реальность. В течение двух или трех дней он не спеша продвигался к западу, блуждая и делая постоянные зигзаги. Затем он пошел уже по прямой линии и рано утром на пятый день, выбравшись наконец из густого леса на открытую ложину, увидел перед собой круглый каменистый кряж. Тут он остановился и долгое время смотрел на расстилавшуюся перед ним равнину.

Образ Нивы становился в его мозгу все яснее и яснее. Мики казалось, будто он покинул все эти места только вчера или третьего дня. Правда, тогда все здесь было завалено снегом и землю окутывал серый непроницаемый туман. Теперь же снег остался только кое-где, светило яркое солнце, и небо было безоблачное и голубое. Он отправился дальше. Обнюхал подошву кряжа. Нет, он ничего еще здесь не забыл. Он совершенно не волновался, потому что уже потерял всякое представление о времени. Ему казалось, что он ушел отсюда только вчера, а сегодня уже вернулся обратно.

И он направился прямо ко входу в берлогу Нивы, с которой уже давно сошел весь снег, просунул туда голову и плечи и понюхал воздух. Ну и соня же этот лентяй-медвежонок! Нечего сказать! Шутка ли, проспать с осени и до весны! Мики вдруг почувствовал его запах. Значит, он еще был здесь. Мики насторожился и прислушался. Да, да, Нива действительно был здесь! Мики услышал его дыхание!

Он перелез через еще уцелевший низенький снеговой барьер, загромождавший собою вход в берлогу, и доверчиво вступил в темноту. Его встретили мягкое, сонное ворчанье и глубокий вздох. Мики дошел до медведя, потерся мордой об его новую, свежую, выросшую за зиму шубу и стал на шаривать дорогу к его уху. Ну разумеется, все происходило только вчера! Нужно ли еще трудиться и припоминать! Мики потянул зубами за ухо Нивы и забрежал тем низким, горловым лаем, который Нива всегда так хорошо понимал.

«Проснись, Нива, – казалось, говорили все эти поступки Мики. – Проснись же! Снег уже растаял, и на дворе стало удивительно хорошо. Проснись же скорее!»

Нива потянулся, широко раскрыл рот и зевнул.

Глава XXIV

Старый индеец Мешаба сидел на солнечной стороне скалистого холма и смотрел вниз на долину. Мешаба, которого давно, уже много лет тому назад, прозвали великаном, теперь представлял собою беззубого, дряхлого старика. Он был так стар, что нигде не имелось свеждений о времени его рождения. Кожа у него была вся сморщена и обветрена, так что походила на оленью шкуру, а по его темно-коричневому, худощавому лицу спускались до плеч пряди снежно-белых волос. Руки его были худы и сухи, и даже нос был весь сморщен от той особой худобы, которая так свойственна самым дряхлым старикам. Но глаза его светились, как у молодого человека, и он видел ими чуть ли не так же хорошо, как и восемьдесят лет тому назад.

Он оглядывал теперь ими всю долину. Всего только в одной миле от него, по ту сторону холмов, находилась ветхая хижина, в которой он жил в совершенном одиночестве. Зима уже надоела ему, и, радуясь приходу весны, он взобрался теперь на холм, чтобы погреться на солнышке и поглядеть на те перемены, которые произошли кругом за зиму. Уже целый час он обследовал долину. Темные сосновые и кедровые леса закрыли от него горизонт. Перед ним же от самого края той гряды, на которой он сидел, и вплоть до этих лесов тянулась луговая долина, кое-где еще чуть-чуть покрытая полурастаявшим снежком и в обнажившихся местах казавшаяся блекло-зеленой. Со своего наблюдательного пункта Мешаба мог видеть также и вторую скалистую гряду, которая выступала посреди равнины в какой-нибудь сотне ярдов от него. Но эта гряда его мало интересовала. Он следил за тем, как в полумиле от него вдруг вышло из лесу стадо оленей и направилось к кустарникам. Еще дальше он увидел безрогую лань, всю облезшую и некрасивую после голодной и холодной зимы; два раза выбежал на его глазах волк и один раз лисица, но именно в данный момент глаза его остановились на той гряде, которая как раз и преграждала ему поле зрения, возвышаясь среди равнины, и внезапно его сердце забилося, трубка вылетела у него изо рта, и он так и застыл в созерцании. На плоской вершине одного из холмов и не далее как в восьмидесяти или девяноста ярдах от него стоял молодой черный медведь. При мягком свете солнца его весенняя шуба блестела, как на рыбе чешуя. Но одно появление медведя еще не могло озадачить Мешабу. Его изумило еще и то, что бок о бок с этим медведем стояло какое-то другое животное – и это животное было не медведем, а, кажется, огромным волком. Старый индеец медленно протер себе глаза. За все свои восемьдесят пять лет он еще ни разу не видел, чтобы между волком и медведем могла существовать дружба. Сама природа сотворила их врагами и предопределила к вечной ненависти друг к другу. Поэтому-то Мешаба некоторое время и не верил своим глазам. Но в следующий затем момент он уже убедился, что чудо действительно происходило, ибо это животное повернулось к нему боком, и он увидел, что это подлинно был волк! Огромный зверь, доходивший до самых плеч медведя. Да, громадное животное, с большой головой и... И тут-то сердце Мешабы забилося еще сильнее, потому что хвост у волка в весеннее время всегда бывает пушистым, а у этого зверя он был таким же голым, как и у бобра.

– «Ухне-Муш!» – затаив дыхание, проговорил Мешаба. – Да ведь это собака!

Казалось, он не сразу пришел в себя при этом открытии. Как на грех, его винтовка оказалась по другую сторону скалы, как раз вне пределов досягаемости.

В это время на противоположной стороне этих восьмидесяти или девяноста ярдов Нива и Мики совершенно спокойно и доверчиво стояли на солнышке и щурились от света. Как раз за ними находилась берлога, в которой Нива столько времени так крепко спал. Мики чувствовал себя как-то странно: он был очень озадачен. Все время ему казалось, что он только вчера расстался с сонным Нивой. Почему же это Нива вдруг сразу стал таким большим? И действительно, за время своей спячки Нива вырос ровно вдвое, чем был тогда, когда

его в последний раз оставил Мики. И если бы Мики мог спросить об этом у Мешабы и индеец сообразовал бы ему ответить, то, пожалуй, он и узнал бы от него что-нибудь по интересовавшему его вопросу.

«Видите ли, гражданин индеец, – так спросил бы его примерно Мики, – с этим медвежонком мы были товарищами чуть ли не со дня нашего рождения. Один человек, по имени Чаллонер, связал нас вместе, когда Нива был еще не больше вашей головы, причем в первую же минуту нашего знакомства мы оба основательно поцарапали друг друга. Потом мы потеряли своего хозяина, и это нас сблизило, как братьев. А сколько было веселья, когда мы вместе охотились! Но Нива вдруг ни с того ни с сего взял да и заснул на всю зиму. Я не стану перечислять вам всего того, что я пережил за эту зиму сам, – это заняло бы слишком много времени. Но вот наступила эта весна, я вдруг почувствовал, что пора уже будить Ниву, который за это время, вероятно, весь уже оброс паутиной, – и вот мы перед вами! Будьте любезны объяснить мне, почему Нива стал вдруг таким большим».

Во всяком случае, именно эта мысль о величине Нивы и наполняла в этот момент всю голову Мики целиком. А Мешаба вместо того, чтобы ответить, поплелся за своей винтовкой, в то время как Нива, вытянув свою коричневую морду по ветру, стал вдруг ощущать какой-то странный запах. Из всех трех действующих лиц этой сцены только один Нива нисколько не удивлялся создававшемуся положению. Когда еще четыре с половиной месяца тому назад он начинал засыпать, то Мики был около него; проснувшись сегодня от своего долгого сна, он опять увидел около себя Мики. Но эти четыре с половиной месяца для него пролетели как одна минута. А ведь сколько раз они и раньше засыпали и пробуждались вместе с Мики! И кто знает, может быть, он заснул с ним не далее как только вчера вечером.

Теперь единственное, что тревожило Ниву, так это странный запах, который он чувствовал в воздухе. Он инстинктивно сознавал в нем угрозу, по крайней мере нечто такое, чего лучше было бы вовсе не обонять. Поэтому он обернулся к Мики и предостерегающе ему зафыркал. Когда Мешаба выглянул из-за выступа скалы и стал прицеливаться, то он увидел, что они со всех ног от него убегали. Он быстро выстрелил.

Звук выстрела и жалобное мяуканье пули, пролетевшей над спинами Мики и Нивы, напомнили им о многом, и, заложив уши назад и сгорбив спину, Нива бросился бежать со всех ног, а рядом с ним галопом помчался и Мики. Тяжело дыша, Нива вдруг остановился. Ввиду того, что он не ел уже целую треть года и ослабел от долгой бездеятельности, он был на волосок от обморока. Прошло несколько минут, прежде чем он собрался с силами, чтобы только захрюкать. Тем временем Мики внимательно обнюхивал его всего от морды и до хвоста. По-видимому, он в конце концов очень остался доволен своим осмотром, потому что, несмотря уже на свой рост и на то достоинство, к которому его уже обязывал его возраст, он стал прыгать вокруг Нивы, как щенок, и громко выражать свою радость по поводу пробуждения своего приятеля.

«А и скучно же мне было всю эту зиму без тебя, Нива! – казалось, хотел он ему этим сказать. – Я рад до смерти, что вижу тебя опять на ногах. Но чем бы нам теперь заняться? Знаешь что? Пойдем на охоту!»

Нива, казалось, только этого и ждал, и они сломя голову помчались вдоль по равнине, пока наконец не добежали до большого болота, где Нива стал выкапывать себе на обед корешки и прошлогодний мох; роясь в земле, он хрюкал так же, как и в былые времена, по-приятельски и точно был еще медвежонком. А Мики, принявшийся тут же за охоту, должен был признать еще раз, что одиночества для него уже больше не существовало.

Для Мики и Нивы, в особенности для Нивы, совершенно не казалось странным, что оба они опять были вместе и что их приятельские отношения точно и не прерывались. Хотя Нива и вырос за месяцы своей зимней спячки, тем не менее ему еще не изменила его память, и все запечатлевшиеся в его мозгу образы оставались еще живы. Ему не пришлось пережить

той массы потрясающих событий, какие выпали на долю Мики в продолжение целой зимы, и Нива поэтому воспринимал сегодняшний день так, как будто ничего особенного не случилось. Он приступил к насыщению своего желудка с таким видом, точно за все эти четыре месяца вовсе ничего не происходило, и, утолив первые позывы голода, по своему старому обычаю стал ожидать, куда его теперь поведет Мики. А Мики тоже вошел в старую колею, точно их братство разделяли всего только один день или одна только неделя, а не целые месяцы. Возможно, что он изо всех сил пытался рассказать Ниве обо всем том, что ему пришлось без него пережить. По крайней мере, желание сделать это в нем было: ему хотелось главным образом, чтобы Нива тоже узнал, каким странным образом он нашел их общего хозяина Чаллонера и как снова его потерял, как он познакомился с женщиной Нанеттой и ее ребенком и как он жил с ними и любил так, как никого еще никогда в своей жизни не любил.

Далеко на северо-востоке находилась старая избушка, которая влекла его и теперь, – и в этой избушке жили Нанетта и ее ребенок. К этой-то именно избушке Мики и повел Ниву в первые же две недели их совместной охоты. Они шли не спеша, благодаря тому, что весенний аппетит Нивы был невероятен и целых девять десятых всего своего времени он должен был посвящать добыванию для себя разных корешков, распускавшихся почек и травы. Что же касается Мики, то всю первую неделю он был разочарован и раздражался тем, что не на кого было охотиться. Но один раз он поймал сразу пять зайцев; Нива съел четырех зайцев и попросил еще.

Если аппетит Нивы еще в прошлом году, во времена их детства, иногда приводил в смущение Мики и ставил его в тупик, то теперь его прожорливость приводила его в удивление, и Нива стал казаться ему просто какой-то бездонной бочкой. С другой стороны, Нива был гораздо добродушнее, чем раньше, но, к сожалению, в состязаниях и в борьбе уже не подходил Мики под пару, так как сильно за это время отяжелел. Скоро он усвоил себе манеру пользоваться в этих случаях именно своей тяжестью и в самые неожиданные для Мики моменты насккивал на него и придавливал его к земле, наваливаясь на него всем телом, как громадная мягкая подушка, и сжимая его в объятиях так, что у Мики чуть не выскакивали на лоб глаза. Иногда, захватив его так обеими лапами, он катался с ним по земле вокруг самого себя, причем оба они фыркали и рычали, точно и на самом деле боролись не на жизнь, а на смерть. Эта игра доставляла Мики громадное удовольствие, хотя он и являлся в ней всегда страдательным лицом, и продолжалась до тех пор, пока наконец оба они как-то случайно не скатились с горы вниз и полетели вместе, как сорвавшаяся лавина, к ее подошве, сильно при этом ударившись животами о землю. После этого случая Нива уже долгое время не решался кататься со своей жертвой. Со своей стороны, и Мики усвоил манеру вонзать в медведя свои острые зубы, как только начинала надоедать ему какая-нибудь игра, и тогда Нива тотчас же выпускал его из своих объятий и отскакивал от него, как пружина. Он научился относиться к зубам Мики с большим уважением.

Но более всего радости приносили Мики те минуты, когда Нива вставал на задние лапы и начинал походить этим на человека. Тогда уже дым поднимался коромыслом: Мики чуть не сходил с ума. Зато самыми скучными и досадными для него были те часы, когда Нива взбирался на дерево, чтобы поспать.

В начале третьей недели они добрались наконец до хижины Нанетты. В ней не произошло никаких перемен. Когда оба они взглянули на нее с края расчистки, то Мики с разочарованием опустил на задние лапы. Не было видно ни дыма, ни каких-либо других признаков жизни, и одно из окошек было разбито, – вероятно, в него заглянул какой-нибудь любопытный медведь или волчица. Мики подошел близко к окошку, поднялся к нему и понюхал воздух, выходящий через него изнутри. Запах все еще держался там, но уже такой слабый, что Мики едва сумел его ощутить. Но это было и все. Передняя комната оказалась совершенно пустой, только стояли железная печка, стол да кое-какие обломки от примитивной

мебели. Все же остальное было вывезено. В течение получаса Мики подходил к окошку три или четыре раза, под конец, следуя его примеру, заглянул в него из любопытства и Нива. Он также ощутил запах, остававшийся еще в избушке. Он долго втягивал его в себя. Он походил на тот же самый запах, который предостерегал его как опасный в самый первый день его выхода из берлоги на свет божий, — только несколько отличался от него. Он был гораздо слабее, более увертливый и не такой противный. Целый месяц после этого Мики упорно оставался около этой избушки. Он охотился только в ее окрестностях и не находил в себе сил отказаться от той тяги к ней, которой он никак не мог себе объяснить и которую совершенно отказывался понимать. В первое время Нива очень охотно разделял с ним компанию, а затем наконец потерял терпение, заявил серьезный протест и на целых три дня ушел от него, скитаясь по своей воле один. Чтобы не порывать с ним добрых отношений, Мики должен был примириться и последовал за ним. Ягодный сезон, то есть начало июля, застал их в шестидесяти милях к северо-западу от избушки, недалеко от тех мест, где родился Нива. Но в это лето повсеместной засухи и лесных пожаров было очень мало ягод. В такое раннее время, как середина июля, над всеми лесами уже стояла серая, волнистая, колыхавшаяся пелена. Целых три недели не выпало ни одной капли дождя. Даже ночи пылали и были сухи от жары. Каждый день все факторы на постах и фортах тревожно вглядывались в необозримые пространства своих епархий, нет ли где пожара, и с первого августа каждый пост имел уже наготове целые партии метисов и индейцев, которые разъезжали по всем дорогам и доискивались, нет ли где-нибудь огня. За тем же зорко наблюдали и постоянные жители лесов, которые не имели возможности переезжать на лето в посты, а так и оставались в своих хижинах и шалашах все время. Каждые утро и вечер и даже по ночам они вскарабкивались на высокие деревья и вглядывались в серую колебавшуюся пелену, стараясь обнаружить в ней клубы дыма. Целые недели ветер продолжал дуть с юго-запада, раскаленный до такой степени, что казалось, будто он доносился со знойных песков африканской пустыни. Ягоды высохли прямо на ветках; гроздь рябины сморщилась прямо на деревьях; речки пересохли; болота превратились в сухие торфяники; на тополях безжизненно повисли листья, слишком вялые, чтобы трепетать от налетавшего ветра. Только однажды или дважды во всю свою жизнь лесные старожилы и видят, как сворачиваются и умирают листья тополей, сожженные в тех местах летним солнцем. Это служит для них всегда безошибочным «кискевахуном», то есть сигналом великой опасности, предупреждением о надвигающейся гибели всего живого в ревущем огненном потоке и предзнаменованием того, что охота и ловля зверей в силки в предстоящую зиму будут невозможны.

Мики и Нива находились в тундре, когда наступило пятое августа. В низинах было душно, как в пекле, и Нива ходил с высунутым изо рта языком, а Мики положительно задыхался, но все же они постепенно продвигались вперед вдоль почерневшего, сонного болотного ручья, походившего на большую, глубокую канаву и такого же мертвенно-неподвижного, как и самый тот день. Сквозь дым вовсе не было видно солнца, оно походило на багрово-красную луну, неверными лучами освещавшую землю, и, казалось, тщетно старалось выкарабкаться из обволакивавшей его пелены, которая все гуще и гуще поднималась к нему снизу. Оказалось, что Мики и Нива попали как раз в самый центр лесных пожаров, но так как находились на дне воронки, внизу, то и не замечали сгущавшегося над ними дыма. Но будь они всего только в пяти милях в любую из сторон — и они уже слышали бы отчаянный топот раздвоенных копыт и звук от движения живых существ, искавших спасения от огня. Но Мики и Нива спокойно продолжали свою дорогу вдоль высохшего болота и к полудню уже выбрались из него и сквозь окружавшие его лесные пространства поднялись наверх. До этой минуты ни один из них даже и не подозревал всего ужаса лесного пожара. И он захватил их как раз именно здесь. Им все равно не помог бы против него никакой предшествовавший опыт. Быстро сгруппировавшийся воедино инстинкт сразу целых тысяч поколений

их родичей сразу же отозвался в их телах и в мозгу. Весь их мир находился теперь в руках духа огня Искутао. К югу, к востоку и к западу – все было погребено под мрачным саваном, походившим на темную ночь, а из дальнего края того болота, через которое они только что прошли, уже вырывались большие огненные языки.

Теперь, когда они были уже вне той громадной воронки до них доносилось оттуда горячее дыхание ветра, и вместе с этим ветром до их ушей достигал глухой, клокочущий гул, подобный шуму далекого водопада. Захваченные гигантским процессом претворения инстинкта в сознание и понимание, они остановились и стали наблюдать, стараясь выяснить свое положение и напрягая все силы своего ума. Будучи медведем и страдая вследствие этого присущей всей его породе врожденной близорукостью, он не мог разобрать ни густых клубов дыма, ни пламени, которое уже языками вырывалось из покинутого ими болота. Но зато он мог обонять, и его нос сморщивался в сотни мельчайших складок – и он приготовился к бегству еще раньше, чем Мики. Но Мики, у которого зрение было как у орла, стоял на месте, словно зачарованный.

Гул становился все слышнее и слышнее. Казалось, что он приближался к ним теперь уже со всех сторон. А затем вдруг понесся с юга целый ураган пепла, бесшумно отделившегося от огня, и за ним повалили целые клубы дыма. Мики бросался в стороны и как-то странно стал взвизгивать, и теперь уже Нива взял на себя руководство, тот самый Нива, предки которого уже десятки тысяч раз в течение целого ряда столетий попадали в такие же точно переделки и в диком бегстве спасали свои шкуры. Теперь уж ему не нужна была острота зрения. Теперь он знал. Он знал, что находилось у него позади и по бокам и где, по какому именно пути, нужно было бежать, чтобы избежать опасности; в самом воздухе он чувствовал и обонял то, что угрожало ему смертью. Два раза Мики делал усилия, чтобы свернуть на восток, и оба раза Нива настойчиво этому противился. Заложив уши назад, он мчался на север. Три раза Мики останавливался, чтобы посмотреть, не догоняет ли их расходившийся пожар, но ни на одну секунду не сделал этого Нива. Все дальше и дальше к северу, к северу, к северу, к тем возвышенностям, к тем широким рекам и озерам и к тем необозримым пространствам, на которых они только и могли бы спастись!

Они бежали не одни. С быстротою самого ветра рядом с ними мчался олень.

«Скорей, скорей, скорей! – подсказывал Ниве инстинкт. – Но только так, чтобы хватило сил до конца! Этот олень, который мчится теперь быстрее, чем догоняющий его огонь, скоро израсходует свои силы совсем и погибнет в пламени. Но ты беги как можно скорее и так, чтобы у тебя хватило сил до конца!»

И Нива стоически продвигался вперед ровными, тщательно размеренными прыжками.

Несясь с быстротою ветра с запада на восток, им пересек дорогу громадный лось, дышавший так тяжело, точно ему перерезали горло. Он весь обгорел и в безумии бросился снова в пылавшую же стену огня.

Позади них и по бокам, там, где пламя уже бушевало с невероятной жестокостью, стирая, подобно полчищам гуннов, все с лица земли, смерть уже приступила к своей жуткой жатве. Мелкие дикие звери и лесные птицы искали своего последнего убежища в дуплах деревьев, под горами бурелома и в самой земле – и безнадежно погибали. Зайцы представляли собою огненные шары, а затем, когда обгорала на них шерсть, становились черными и падали на землю, сморщившись в комки; норки, выдры и горностаи забивались в самые глухие уголки под валежником и постепенно там умирали; совы срывались с вершин деревьев, некоторое время боролись в раскаленном воздухе и затем падали в самое сердце огня. Кроме дикобразов, ни одно живое существо не издавало звуков; и когда они погибали, то кричали так, как маленькие дети.

В соснах и кедрах, отяжелевших от смолы, которая заставляла их верхушки вспыхивать, как пороховой погреб, – огонь бушевал с оглушительным ревом. От него нельзя было

найти спасения в бегстве ни человеку, ни зверю. И из этого пылавшего ада только один великий, умоляющий вопль доносился к небу: воды! воды! воды!

ВОДЫ!

Там, где была вода, могли бы быть надежда и жизнь. В великий час всеобщей гибели были забыты все распри крови и породы, все родовые междоусобия пустыни. Каждая лесная лужица превратилась в якорь спасения.

Вот к такому-то лесному озеру и привели Ниву его непогрешимый инстинкт и чутье, обострившиеся еще больше благодаря неистовству и реву гнавшегося за ним огня. Мики растерялся совсем; все чувства его смешались; он уже ничего больше не чувал, кроме запаха дыма и огня, и уже слепо и покорно следовал за своим товарищем. Огонь уже подбирался к этому озеру с западной стороны, и вся его поверхность была уже занята живыми существами. Это было небольшое водное пространство, совершенно круглой формы, всего только двести ярдов в диаметре. Почти все оно было занято оленями и лосями, из которых только немногие плавали, все же остальные стояли ногами прямо на дне, высунув головы из воды. Другие существа, с более короткими ногами, бесцельно плавали по воде то туда, то сюда, болтая лапами только для того, чтобы не утонуть. Еще более мелкие животные бегали, ползали и пресмыкались по берегу: тут были маленькие красноглазые горностаи, куницы и выдры, зайцы и даже кроты и целые полчища мышей. Окруженный всеми этими существами, которыми он с удовольствием полакомился бы при других условиях, Нива медленно побрел в воду.

Мики последовал за ним, пока не погрузился наконец до самых плеч. Затем он остановился. Теперь огонь уже был близко, несясь, как скаковая лошадь. Кольцо вокруг озера вдруг сомкнулось, и вслед за этим из ужасающего хаоса мрака, дыма и огня послышались дикие, раздражающие душу крики, жалобное мычание молодого лося, потерявшего свою мать, полный агонии вой волка, испуганная брехня лисицы – и над всем этим визгливые до отвращения крики филинов, лишившихся своего убежища в целом море огня.

Сквозь сгущавшийся с каждой минутой дым и нараставшую жару Нива пустился вплавь и все время звал за собой Мики, который, жалобно повизгивая ему в ответ, барахтался вслед за ним, стараясь плыть так близко от своего большого черного брата, что их морды то и дело касались одна другой. А затем, выбившись окончательно из сил, Мики кончил тем, что взобрался на Ниву целиком и поплыл на нем, как на плоту.

Все озеро было теперь опоясано одной сплошной стеной огня. По смолистым деревьям поднимались языки пламени и взлетали в разгоряченном воздухе на целых пятьдесят футов вверх. Рев пожара был оглушителен. Он подавлял собою всякий звук, который в жестокой агонии и в ужасе смерти издавали погибавшие животные. Жара была невыносима. В течение нескольких минут воздух, который вдыхал в себя Мики, жег его легкие, как огнем. Каждые несколько секунд Нива погружал свою голову в воду, чтобы охладить свой пылающий лоб.

Но пожар так же быстро прошел дальше, как и пришел. Стены леса, который всего только несколько минут тому назад был зелен, как изумруд, теперь стояли обуглившимися, черными и лишенными жизни; а самый гул от пожара уносился вместе с пламенем все дальше и дальше, пока наконец не превратился в замирающий отдаленный ропот.

Все живое робко устремилось к почерневшим и еще дымившимся берегам. Многие из созданий, искавших спасения в озерке, уже погибли. Главным образом это были дикобразы. Все они утонули.

На берегах жара все еще была значительна, и еще целые часы после пожара земля была горяча от тлевшего под пеплом огня. Весь остаток того дня и всю последовавшую за ним ночь ни одно живое существо не уходило далеко от воды. И ни одно из них не решилось утолить свой голод другим. Великая опасность сделала всех зверей ручными.

Наконец незадолго перед рассветом занимавшегося после пожара дня пришло вдруг облегчение. Налетел вдруг проливной дождь, и, когда совсем уже рассвело и сквозь разорванные тучи проглянуло солнце, на озере уже не осталось и признака тех ужасов, которые происходили здесь всего только несколько часов тому назад. Только мертвые тела плавали по его поверхности и валялись по берегам. А все живое вернулось в свои опустошенные пожаром места – и вместе с другими побрели туда же и Нива и Мики.

Глава XXV

После великого пожара Нива сделался вожаком на более или менее долгий срок. Весь доступный ему и Мики мир теперь представлял собою черную и безжизненную пустыню, и если бы Мики был один, то он растерялся бы совсем и не знал бы, в какую сторону ему идти. Будь то лишь местный пожар в небольшом масштабе, он все-таки выбрался бы в конце концов из него и, несмотря на обуглившуюся землю, нашел бы свою тропу ко внешнему миру. Но район горения был необъятных размеров. Пламя пронеслось по огромнейшему пространству, и половине тех существ, которым удалось спастись в речках и озерах, все-таки предстояло теперь погибнуть от голодной смерти.

Но не таков был Нива и вообще вся его порода. Как в нем не было нерешительности в выборе направления и в темпе бегства, так и теперь не было вовсе колебаний в выборе того пути, по которому он рассчитывал выбраться снова к свету. Надо было идти во что бы то ни стало на северо-запад, но только по прямой линии, как по компасу. И когда они добирались до какого-нибудь озера и огибали его, то Нива непременно следовал по берегу, не уклоняясь от него до тех пор, пока наконец они не доходили как раз до той самой точки, которая была диаметрально противоположна их первоначальному отправлению на том берегу озера. А затем они опять-таки устремлялись по прямой линии на северо-запад. Они подвигались вперед неуклонно, не останавливаясь ни днем ни ночью, разве только для того, чтобы немного передохнуть. На шестой день они были уже в целых ста милях от этого озерка, где нашли спасение от догнавшего их пожара.

Перед ними расстился теперь прекрасный край, со множеством зеленых лесов, обильных озер и рек, и перерезанный тысячами неглубоких оврагов, в которых кишмя кишела дичь. Попад сюда, Мики и Нива целый месяц прожили, точно в обетованной земле, хорошо поправились и снова почувствовали себя счастливыми.

В сентябре они натолкнулись на странный предмет, находившийся у края болота. Сперва было Мики решил, что это – хижина, но странная вещь уступала размерами всем ранее им виденным избушкам. Она была чуть-чуть более той клетки, в которой его держал Лебо. Но сделана она была из тяжелых бревен, которые были срублены так, что их нельзя было сдвинуть с места. Эти бревна были разделены между собою промежутками в шесть – восемь дюймов. Дверца в этот домик была отворена настежь. Из всего этого странного сооружения шел острый запах протухшей рыбы. Мики отвернулся от этого запаха, но Ниву он, видимо, сильно притягивал к себе. По крайней мере он настойчиво продолжал держаться поблизости, несмотря на все усилия Мики оттащить его от этой постройки. Наконец, раздосадованный испорченным вкусом своего товарища, Мики отправился далее один. Тогда, воспользовавшись его отсутствием, Нива просунул в отверстие постройки голову и плечи. Запах рыбы защекотал у него в носу, и его маленькие глазки засверкали. Но, чтобы дотянуться до заветного лакомства, он ступил на какой-то предательский брусok, надавил на него, и тут вдруг раздалось: трах!..

Он метнулся в сторону, подумав, что это был выстрел. На том месте, где он прошел, уже вовсе не было выхода. Нива оказался в плену. Тем не менее он вовсе не волновался, а отнесся к положению довольно хладнокровно, очевидно, полагая, что где-нибудь между бревен найдется достаточно широкое пространство, чтобы он мог через него вылезти наружу. Обнюхав все по порядку, он приступил к уничтожению рыбы. Он до такой степени увлекся своим ароматным завтраком, что даже и не заметил, как из-за кустов вышел какой-то индеец. Он быстро сообразил, в чем дело, повернул назад и тотчас же ушел.

Через полчаса индеец добежал до расчищенного места в лесу, где находились только что отстроенные здания нового поста компании. Он направился прямо к фактору. В устлан-

ном мехами «кабинете» какой-то мужчина склонился над женщиной. При виде индейца оба они сконфузились, отскочили друг от друга, и женщина приветливо улыбнулась вошедшему. Какая она была красивая! Глаза ее сияли, а щеки окрашивал легкий румянец. Индеец почувствовал, что в душе у него стало сразу как-то теплее от ее женственного приветия.

– Медведь поймался!.. – объявил он. – Но только попался уже взрослый самец! Медвежонка же все еще нет, мадам Нанетта!

Белый человек засмеялся.

– Не везет нам с этим медвежонком! – обратился он к жене. – Оказывается, что поймать его не так-то легко. А я-то так рассчитывал, что попадется именно медвежонок! – И затем, обратившись уже к индейцу, он продолжал: – Придется, Мутаг, нам отпустить медведя на волю. Все равно его шкура теперь никуда не годится. Хочешь, Нанетта, посмотреть на забаву?

Она кивнула головой, и ее легкий смех был напоен радостью жизни.

– Да, я бы посмотрела, – ответила она. – Это, должно быть, очень весело, когда медведь вдруг получает свободу.

Вооружившись топором, Чаллонер взял жену под руку и вышел с нею из складов. Позади них пошел Мутаг, имея наготове заряженную винтовку. Чаллонер посмотрел из-за кустов и затем сделал в ветках отверстие, через которое Нанетта могла бы смотреть на все то, что должно было происходить. Когда она увидела медведя, который теперь уже в волнении ходил из угла в угол по ловушке, то невольно затаила дыхание. Потом она слегка вскрикнула, и Чаллонер почувствовал, как ее пальцы вдруг цепко впились в его руку. И прежде, чем он успел понять, что она собиралась сделать, она уже выскочила из-за кустов и бросилась к ловушке.

У самой бревенчатой тюрьмы Нивы, верный своему товарищу в час опасности, лежал Мики. Он так измучился от бесплодного копания земли под бревнами, что даже и не почувствовал запаха от людей и не услышал их шагов, пока наконец не увидел, что сама Нанетта стоит в каких-нибудь двадцати шагах от него. Сердце в нем екнуло, и что-то подступило ему к самому горлу. Он облизнулся, как будто бы для того, чтобы отделаться от этого подкатившего ему к горлу комка, потом пристально всмотрелся. А затем вдруг с плаксивым визгом бросился к Нанетте. Громко вскрикнув, Чаллонер тоже выскочил из-за кустарника и поднял над головой топор. Но раньше, чем топор успел опуститься, Мики был уже в объятиях у Нанетты. Тогда Чаллонер швырнул топор на землю и, полный изумления, воскликнул:

– Мики!

Глядя на все это, Мутаг широко раскрыл от удивления рот и вдруг увидел, что и мужчина и женщина затеяли с этим странным и диким на вид зверем, которого, по его мнению, следовало бы тут же на месте и убить, какую-то невероятную возню. О медведе они совсем и позабыли. И Мики в дикой радости от того, что наконец-то нашел тех, кого так любил, и сам тоже позабыл о своем друге. Нужно было особенно сильное «уф!» со стороны самого Нивы, чтобы обратить на себя общее внимание. С быстротой молнии Мики бросился к западне и стал обнюхивать просунувшуюся между двух бревен морду Нивы. Усиленно виляя хвостом, он старался дать медведю понять о том, что так неожиданно случилось.

Медленно, с одной только мыслью о том, как бы не случилось чего-нибудь неожиданного, Чаллонер приблизился к ловушке. В это время Нива высунул между бревен свой коричневый нос и... Мики любовно лизнул его языком. Чаллонер протянул руку к Нанетте, и когда та подошла к нему поближе, то он только безмолвно указал ей на обоих.

А потом он ей сказал:

– Это тот самый медвежонок, Нанетта, – помнишь? – тот самый, о котором я тебе говорил. Все это время они держались вместе, – с тех самых пор, как я, полтора года тому назад, убил медведицу и связал обоих одной веревкой. Теперь я понимаю, почему Мики тогда от

нас сбежал, когда мы жили еще в твоей избушке. Оказывается, что он тогда вернулся к этому самому медведю!

* * *

Если вы теперь направитесь к северу от озера Лепас и пустите свою лодку вниз по Крысьей реке или через пороги Берри, а оттуда прогребете и снизитесь по течению Оленьей реки до восточного берега Оленьего озера, то вы доберетесь в конце концов до реки Кокрейны и поста под названием Форт озера Бэн. Это одна из самых красивых местностей на всем Дальнем Севере. Триста индейцев, метисов и французов приходят к озеру Бэн торговать своими мехами. Из всех них не найдется ни одного человека – будь то мужчина, женщина или ребенок, – который бы не знал повести о «ручном медведе озера Бэн».

На медведе надет металлический ошейник, и он водит компанию с большой собакой, которая теперь, впрочем, порядком разжирела и никуда далеко от поста не уходит. Во всей той округе есть неписанный закон, согласно которому никто не имеет права причинять медведю вред и вообще расставлять на медведей ловушки ближе, чем в пяти милях от построек компании. Медведь же никогда не заходит за эти пределы; а когда наступают зимние холода и медведь погружается в свою долгую зимнюю спячку, то перед тем, как заснуть, он заползает в глубокую, длинную яму, которая вырыта специально для него под одним из зданий компании. Вместе с ним там проводит ночи и Мики.

Казан

Глава I Чудо

Казан лежал молча и неподвижно, положив серый нос между двух передних лап и полузакрыв глаза. Менее безжизненной не могла бы показаться даже скала: в нем не дрожал ни один мускул, не шевелился ни один волосок, он не мигал ни одним глазом. И все-таки каждая капля дикой крови в его прекрасно сложенном теле волновалась так, как еще ни разу в его жизни; каждый нерв, каждый фибр в его удивительных мускулах был натянут, как стальная проволока. На четверть – волк и на три четверти – ездовая собака, он уже четыре года прожил в самой дикой обстановке. Ему знакомы были муки голода. Он знал, что такое жестокий мороз. Он умел вслушиваться в жалобный вой ветров, дувших в долгие арктические ночи вдоль Баррена. Он слышал рев потоков и водопадов, и его не раз засыпало снегом в величественной сумятице зимних бурь. Его шея и бока были все в шрамах от драк, и глаза у него были красны от яркого блеска снегов. Его называли Казан, что значит дикая собака, потому что он представлял собою среди других собак гиганта и был так же безбоязлив, как и те люди, которые ехали на нем, побеждая опасности полярных стран.

Он никогда не знал страха, но только до последней минуты. Он ни разу в жизни не ощущал в себе желания бежать от опасности, даже в тот ужасный день, когда ему пришлось сцепиться в лесу с громадной серой рысью и загрызть ее. Он не знал, что могло бы его испугать, но отлично понимал теперь, что находится в каком-то другом мире, в котором было множество поводов для того, чтобы удивиться и испытать настоящий страх. Таково было его первое впечатление от цивилизации. Ему хотелось, чтобы его хозяин как можно скорее вернулся к нему обратно в эту странную комнату, в которой так надолго оставил его одного. Это была комната, обставленная какими-то неприятными предметами. Со стен смотрели на него странные лица, но они не двигались и не говорили, а уставились на него с таким видом, какого он еще ни разу не замечал у людей. Он помнил, как однажды его хозяин лежал неподвижно на снегу, закован от холода, а он сам в это время сидел на задних лапах, смотрел на него и жалобно выл от предчувствия летавшей вокруг них смерти; но эти люди на стенах смотрели как живые, а казались покойниками.

Вдруг Казан насторожил уши. До него донеслись шаги, а затем и отдаленные голоса. Один из голосов был его хозяина. А другой вдруг заставил его задрожать. Однажды, когда-то давным-давно, когда он был еще щенком, так что это могло бы даже показаться сном, он слышал чей-то смех, каким обыкновенно смеются девушки, тот самый, полный радостного счастья и какой-то удивительной ласковости смех, который заставил теперь Казана поднять голову, когда эти двое вошли. Он уставился на них, и его красные глаза вдруг вспыхнули. Он тотчас же понял, что эта девушка была дорога его хозяину, потому что тот сразу же ее крепко обнял. Когда вспыхнул огонь, Казан увидел, что у нее были очень светлые волосы, здоровый, розовый цвет лица и ясные, голубые, точно васильки, глаза. Увидев его, она вдруг вскрикнула и бросилась к нему.

– Осторожнее! – крикнул мужчина. – Он опасен! Казан...

Но она была уже около собаки и опустилась перед ней на колени, такая пушистая, веселая и красивая, глаза у нее сияли, и руки уже готовы были его обнять. Отстранится ли от нее Казан? Бросится ли он на нее? Была ли она для него из тех людей, которые смотрели на него со стен, и вообще, враг ли она для него? Не схватить ли ему ее прямо за белое горло?

И он увидел, что мужчина подскочил к нему, бледный как смерть. А затем девушка все-таки коснулась Казана рукой, и он вдруг почувствовал, как от этого ее прикосновения по каждому его нерву пробежала дрожь. Обеими руками она повернула его голову к себе. Она приблизилась к ней лицом, и он услышал, как, чуть не со слезами, она сказала:

– Так это ты, Казан, мой милый, дорогой Казан, мой герой, который принес его ко мне, когда все остальные поумирали! Мой Казан, мой герой!

И затем, чудо из чудес, она прижалась к нему лицом. Все это время Казан не шевелился. Он едва дышал. Прошло много времени, прежде чем девушка подняла голову. И когда она это сделала, ее глаза блестели от слез, а над нею и Казаном стоял мужчина, стиснув зубы и держа руки наготове.

– Я никогда не думал, – сказал он в крайнем удивлении, – чтобы он позволил кому-нибудь прикоснуться к себе голыми руками. Отодвинься-ка назад, Изабелла. Но что это такое? Посмотри-ка!

Казан тихонько заскулил и уставился своими красными глазами девушке в лицо. Ему хотелось, чтобы она снова погладила его рукой; он желал лизнуть ее прямо в лицо. Побьют ли его палкой, казалось, думал он, если он осмелится на это? Теперь уж он вполне безопасен для нее. Он может броситься за нее на кого угодно. И он пополз к ней на животе, дюйм за дюймом, не спуская с нее глаз. Он слышал, как мужчина воскликнул: «Но что это? Посмотри-ка!» – и весь задрожал. Но никто не ударил его, чтобы он отскочил назад. Он коснулся пастью ее легкого платья, и она, нисколько не отстранившись от него, посмотрела на него влажными глазами, блиставшими, как звезды.

– Смотри! – прошептала она. – Смотри!

На полдюйма, на дюйм, на два дюйма ближе – и он всем своим большим серым телом подполз к ней вплотную. Теперь уж он мордой медленно стал искать ее ноги, ее колени и, наконец, коснулся ее теплой маленькой руки, лежавшей на коленке. Его глаза все еще были устремлены на нее: он видел казавшееся ему странным трепетание в ее белом, открытом горле, и как затем задрожали у нее губы, и с удивлением посмотрел на мужчину. Он тоже, в свою очередь, опустился на колени около них и одной рукой обнял девушку за талию, а другой стал гладить собаку по голове. Казан не любил его прикосновения. Он не доверял ему, так как природа научила его относиться с недоверием к прикосновению к нему рук всех мужчин вообще; но он терпел это теперь потому, что замечал, что это нравилось и девушке.

– Казан, старый приятель, – обратился к нему ласково хозяин, – ведь ты не будешь трогать ее, не правда ли? Мы оба будем любить ее! Хорошо? Она теперь наша; ты понимаешь, Казан: она теперь вся целиком наша с тобой! Она теперь твоя и моя, и мы положим за нее всю нашу жизнь; и если нам с тобой когда-нибудь придется защищать ее, то мы будем драться, как дьяволы. Не правда ли? Как ты думаешь, Казан?

И еще долгое время, когда они уже отошли от собаки и оставили ее на разостланной шкуре одну, Казан все еще не сводил глаз с девушки. Он прислушивался и наблюдал, и с каждой минутой ему все больше и больше хотелось подползти к ним обоим и лизнуть девушку в руку, в платье или в ногу. Немного спустя его хозяин сказал что-то девушке, и она со смехом подбежала к чему-то большому, четырехугольному и блестящему, стоящему поперек угла и вдруг оскалившему такой длинный ряд белых и черных зубов, что с ним не смог бы сравниться по длине даже весь Казан. Он удивился на эти зубы. Девушка коснулась их своими пальцами, и все завывание ветров, которое он когда-либо слышал, вся музыка водопадов и речных быстрин, все песни птиц весенней порой сразу же побледнели для него при тех звуках, которые полились из-под этих зубов. Это была его первая музыка. В первую минуту она заставила его вздрогнуть и даже испугала его, а затем он почувствовал, что это был вовсе не страх, а какой-то странный зуд, вдруг пробежавший по всему его телу. Ему вдруг захотелось сесть на задние лапы и завывать, как он обыкновенно был на биллионы звезд, рассеянных по

небу в холодные зимние ночи. Но что-то удержало его от этого. Удержала именно девушка. Он стал медленно подползать к ней на животе, но, почувствовав на себе взгляд мужчины, остановился. А потом опять пополз, но только чуть заметно, по одному дюйму в редкие промежутки времени, вытянув далеко вперед шею и положив морду прямо на пол. Он был уже на самой середине комнаты, как раз на полпути к девушке, как вдруг эти удивительные звуки стали замирать и зазвучали низко-низко.

– Продолжай! – быстро заговорил мужчина. – Продолжай еще! Не останавливайся!

Девушка обернулась, посмотрела, как собака ползла на животе по полу, и стала играть еще. И мужчина все еще смотрел на Казана, но его взгляд уже не мог отогнать его назад. Казан придвигался все ближе и ближе, пока наконец его вытянутая морда не коснулась складок ее платья, лежавших на полу. А затем он весь задрожал, потому что она стала петь. Он слышал и раньше, как мурлыкали перед своими юртами индейские женщины, слышал дикий рев индейцев, распевавших свою обычную песню про оленя, но, чтобы такая удивительная приятность могла вдруг слетать с губ девушки, он не мог себе даже и представить. Теперь уж он совсем забыл о присутствии своего хозяина. Спокойно, исподтишка, так чтобы она не заметила, он поднял голову. Но она все-таки посмотрела на него; в ее глазах для него было что-то такое, что внушало ему доверие, и он положил ей голову прямо на колени. А потом и сама девушка коснулась его рукой, и с глубоким, продолжительным вздохом он зажмурил глаза. Музыка закончилась. Над ним раздался легкий, трепетавший звук, – не то смех, не то рыдание. Он услышал затем кашель своего хозяина.

– Я всегда любил этого пса, – сказал хозяин, – но никак не мог ожидать от него ничего подобного.

И его голос показался Казану тоже дрожащим.

Глава II

На север!

Для Казана потянулись удивительные дни. Он позабыл о лесах и глубоких снегах. Он позабыл о своих ежедневных драках со своими товарищами по упряжи, об их лае позади него, о длинных поездках по обширным пространствам Баррена, напрямик. Он позабыл о понуканиях погонщиков, о предательском свисте двадцатифутовой плети из оленьей кожи, и о взвизгиваниях, и о напряжении, говоривших ему о том, что позади него, вытянувшись в одну линию, следовали еще и другие собаки. Но теперь что-то новое заняло место всего того, что он потерял. Оно было в комнате, в воздухе, вокруг него самого даже тогда, когда девушка и его хозяин вовсе не находились поблизости. Где бы она ни была, он всюду находил это странное нечто, что совершенно не давало ему чувствовать себя одиноким. Это был запах девушки, и иногда именно этот самый запах заставлял его тихонько скулить по ночам, когда ему следовало бы вместо этого просто выть на звезды. Он не был одинок, потому что как-то ночью во время своих скитаний по квартире он вдруг набрел на какую-то дверь, и когда девушка утром отворила эту дверь, то нашла его свернувшимся калачом и тесно к ней прижавшимся. Она наклонилась над ним и приласкала его, причем ее густые волосы волнами упали на него и обдали его своим запахом; после этого она уже сама постлала около своей двери мех, чтобы он спал здесь всегда. И в течение всех долгих ночей он знал, что она находилась по ту сторону двери, и был доволен. С каждым днем он все менее и менее думал о тех диких местах, которые оставил, и все больше и больше думал о ней.

А затем наступила перемена. Как-то странно вдруг все вокруг него засуетились, заспешили, и девушка перестала обращать на него внимание. Он забеспокоился. Он обонял эту перемену в самом воздухе и стал следить за выражением лица своего хозяина. А потом, как-то однажды утром, очень рано, на него надели ошейник и опять привязали к нему железную цепь. И он стал наконец понимать все только тогда, когда хозяин потащил его за собой и вывел через дверь на улицу. Итак, значит, его уведут куда-то прочь. Он вдруг подался всем телом назад и отказался повиноваться.

– Пойдем, Казан, – стал ласково уговаривать его хозяин. – Иди, мой милый!

Казан рванулся назад и оскалил белые зубы. Он ожидал визга плети или удара дубиной по телу, но не последовало ни того ни другого. Хозяин засмеялся и ввел его обратно в дом. И когда они вновь вышли из него, то на этот раз с ними была уже и девушка и шла рядом с ним, держась за его голову. Только благодаря ей он прополз через зиявшую дверь в темный багажный вагон, и только она одна и светила ему в его мрачном углу, куда привязал его хозяин. Затем оба они вышли, смеясь, как дети. Целые часы после этого Казан пролежал тихо и весь в напряжении, прислушиваясь к монотонному стуку колес как раз под собой. Несколько раз эти колеса переставали вертеться, и тогда он слышал долетавшие до него извне голоса. Под конец ему показалось, что он услышал знакомый голос, и он тотчас же вскочил, натянул цепь и заскулил. Запертая дверь отодвинулась вбок. Вошел человек с фонарем, а за ним следовал хозяин. Казан не обратил на них ровно никакого внимания, но стал всматриваться сквозь дверь в ночную темноту. Он чуть не разорвал ошейник, когда выскочил на белый снег, но, не найдя там той, кого искал, он остановился как вкопанный и стал втягивать в себя воздух. Над ним сверкали звезды, на которые он выл всю свою жизнь, а вокруг него возвышались леса, черные и молчаливые, окружавшие всю станцию, как стеной. Тщетно он искал тот запах, которого теперь ему не хватало, и Торп услышал низкую ноту горя, вдруг вылетевшую из его лохматого горла. Он поднял фонарь над головой, замахал им в воздухе, приспустив при этом цепь от ошейника Казана. На этот сигнал из ночного мрака вдруг отозвался женский голос. Он раздался откуда-то издалека, и Казан сразу так рванулся вперед, что цепь выско-

чила из руки мужчины. Он увидел перед собой мерцание и других фонарей. И вслед за тем еще раз послышался тот же голос:

– Казан!.. Сюда!..

Он помчался на него как стрела. Торп засмеялся и побежал следом за ним.

– Ах ты, разбойник!.. – ворчал он.

Возвратившись от багажного вагона обратно к освещенному пространству, Торп увидел, что Казан уже лежит калачом у самых ног женщины. Теперь это была уже жена Торпа. Когда он вырисовался из мрака, она торжествующе посмотрела на него.

– Ты выиграла! – засмеялся он не без удовольствия. – Я мог бы поставить свой последний доллар на то, что он ни за что на свете не узнал бы твоего голоса среди массы других голосов. Но ты все-таки выиграла. Казан, дурак ты этакий, ведь я тебя проиграл!

Лицо его вдруг омрачилось, когда Изабелла нагнулась, чтобы взяться за конец цепи.

– Теперь он твой, Иза, – быстро добавил он, – но ты уж предоставь его мне, пока мы не узнаем его вполне. Дай мне цепь. Я все еще не доверяю ему. Ведь он все-таки волк. Я сам был свидетелем, как он в один момент откусил руку у индейца. Я сам лично видел, как он в один прием перегрыз горло другой собаке. Ведь он – выродок, не чистая собака, и я еще не могу полностью положиться на него, несмотря на то, что он спас мне жизнь. Дай сюда цепь...

Не успел он еще и договорить, как послышалось рычание, как у дикого зверя, и Казан вскочил на ноги. Губы у него приподнялись и обнажили длинные клыки. Спина ошетичилась, и, с внезапным криком предостережения, Торп схватился за висевший у него сбоку револьвер.

Но Казан не обратил на него внимания. Другая фигура вдруг вышла из ночного мрака и стала тут же, в освещенном фонарями пространстве. Это был Мак-Криди, проводник Торпа и его жены на обратном пути. Торпа к Красной реке, куда Торп возвращался на службу. Этот человек был строен, могуч и гладко выбрит. Его подбородок был почти совсем четырехугольный, что придавало ему животное выражение. И когда он поглядывал на Изабеллу, в глазах у него зажигался такой огонек, что Казан приходил прямо в исступление.

Ее белый с красным вязаный колпачок съехал у нее с головы и свешивался к самому плечу. Неверный отблеск от фонарей отражался теплым, золотистым светом у нее на волосах. Ее щеки пылали румянцем, и, когда она неожиданно увидела его, в ее голубых, как васильки, глазах засверкали алмазы. Мак-Криди кивнул ей головой, и в ту же минуту ее рука опустилась на голову Казана. В первый момент собака не почувствовала на себе ее прикосновения. Она все еще ворчала на Мак-Криди, и ее угрожающее рычание стало еще слышнее вырываться у нее из груди. Жена Торпа потянула за цепь.

– Замолчи, Казан, довольно! – скомандовала она.

При звуке ее голоса он успокоился.

– Ложись! – приказала она и снова положила ему на голову руку.

Он повалился к ее ногам. Но его губы все еще оставались приподнятыми. Торп все время наблюдал за ним. Он изумлялся тому смертоносному яду, которым светились волчьи глаза Казана, и затем перевел свой взгляд на Мак-Криди. Рослый проводник в это время развернул кольца своей длинной плети. Странное выражение вдруг появилось у него на лице. Он уставился на Казана. Затем он вдруг перегнулся вперед и, казалось, на один или два момента вовсе позабыл о том, что Изабелла Торп смотрела на него изумленными голубыми глазами.

– Вперед, Педро, лови! – воскликнул он.

Одно это слово «лови» было известно всем собакам, состоявшим на службе при северо-западной горной полицейской охране. Казан не шевельнулся. Мак-Криди выпрямился и с быстротою молнии развернул свою длинную плеть и щелкнул ею в воздухе так, точно раздался выстрел из револьвера.

– Лови, Педро, лови!

Клокотание в горле у Казана превратилось в злобное рычание, но ни один мускул на нем не дрогнул. Мак-Криди обратился к Торпу:

– Могу поклясться, что я знаю эту собаку, – сказал он. – Если это Педро, то берегитесь его!

Торп держался за цепь. Только одна молодая женщина заметила тот огонек, который на минуту вспыхнул в глазах у Мак-Криди. Она вздрогнула от него. Ведь всего только несколько минут тому назад, когда поезд только что остановился у этой станции, она сама же предложила этому человеку руку, и он точно так же посмотрел на нее и тогда. Но даже и в эту минуту, когда она почувствовала себя так неловко, ей пришлось на ум все то, что рассказывал ей муж об этих жителях дремучих лесов. Она научилась любить их, удивляться их силе, непоколебимому мужеству и благородству их души еще раньше, чем попала наконец сюда сама, в их среду; и, поборов в себе эту боязнь и это охватившее ее неприятное чувство, она постаралась улыбнуться Мак-Криди.

– Вы не понравились ему, – с ласковой улыбкой заметила она. – Отчего бы вам сразу же не сделаться друзьями!

И она потянула к нему Казана, тогда как Торп все еще держался за конец цепи. Мак-Криди стал рядом с ней, когда она склонилась над собакой. Он тоже наклонился над ней, держась спиной к Торпу, и головы его и Изабеллы сошлись вместе всего только на какой-нибудь фут расстояния. Он мог видеть в темноте румянец на ее щеках и движение ее губ, когда она старалась успокоить ворчавшего Казана. Торп держался в это время настороже, готовый каждую минуту потянуть за цепь, но в это время Мак-Криди находился между ним и его женой, и он не мог видеть выражения его лица. Но Мак-Криди смотрел вовсе не на Казана. Он пожирал глазами Изабеллу.

– А вы храбрая! – сказал он. – Я бы не решился на это: он тотчас сбросил бы с себя мою руку!

Он взял у Торпа фонарь и направился по узенькой тропинке, ведущей куда-то в глубину от железнодорожной платформы. Там, за опушкой из молодого ельника, находился лагерь, который еще две недели тому назад оставил для себя Торп. Он состоял из двух палаток, в которых отпочковали тогда он сам и его проводник. Перед ними теперь был разложен большой костер. Около огня стояли длинные сани, и Казан увидел неясные тени и сверкавшие в темноте глаза своих товарищей по упряжи – собак, которые были привязаны к деревьям. Он стоял недвижимо, точно окаменелый, когда и его тоже Торп стал привязывать к саням. Значит, он опять возвратился к своим лесам и теперь снова должен приняться за дело! Его хозяйка в это время смеялась и хлопала в ладоши от удовольствия и от возбуждения при мысли о странной и удивительной жизни, которая должна была теперь начаться для нее. Торп откинул в сторону полу палатки, и она вошла в нее первая, а за нею последовал и он. Она не обернулась назад. Она не сказала Казану ни одного слова. Он заскулил и красными глазами стал смотреть на Мак-Криди.

В палатке Торп сказал:

– Мне жаль, Иза, что не старый Джэкпайн будет сопровождать нас далее. Он ехал со мною сюда, но ни деньгами, ни лаской я не мог уломать его возвратиться со мной обратно. Я бы отказался от своего месячного жалованья, чтобы только ты посмотрела, как этот индеец умеет управляться с собаками! А в этого Мак-Криди я что-то не верю. Он опытен и, как уверял меня агент Компании, знает все леса, как свои пять пальцев. Но собаки не любят чужого проводника. Казан не ставит его ни в грош!

Казан услышал голос молодой женщины и насторожился, стараясь в него вслушаться. Он не видел и не слышал, как сзади к нему подкрался Мак-Криди. Точно выстрел, внезапно раздался позади Казана его голос:

– Педро!

В один момент Казан съежился, точно его стегнули плетью.

– Наконец-то я добрался до тебя, старый черт! – прошипел Мак-Криди, и лицо его сразу как-то странно побледнело при свете костра. – Дали тебе другое имя, да? Но я все-таки тебя узнал, не правда ли?

Глава III

Мак-Криди расплачивается

После этих слов Мак-Криди еще долго сидел молча у костра. Только раз или два за все время он отвел глаза от Казана. А затем, убедившись, что Торп и Изабелла уже улеглись совсем, он отправился к себе в палатку и вернулся из нее с бутылкой водки. Он отпивал из нее раз за разом в течение целых полчаса. Потом он отошел в сторону и сел на край саней, у самой цепи, к которой был привязан Казан.

– Я таки добрался до тебя! – повторял он по мере того, как хмель бросался ему в голову. – Интересно знать, Педро, кто дал тебе другое имя? И как ты попал именно к нему? Хо-хо, если бы ты только умел говорить...

Они услышали голос Торпа, заговорившего внутри палатки. За ним последовал сдерживаемый веселый девичий смех, и Мак-Криди насторожился. Его лицо сразу покраснело, и он поднялся на ноги, сунув бутылку к себе в карман пиджака. Побродив вокруг огня, он тихонько, на цыпочках, вошел в тень, отбрасываемую деревом, стоявшим как раз возле самой палатки, и стал вслушиваться. Глаза его горели дикой страстью, когда он возвратился обратно к саням и к Казану. Была уже полночь, когда он вошел к себе в палатку.

В тепле от костра глаза у Казана стали смыкаться. Он задремал беспокойным сном, и в мозгу у него стали проноситься сбивчивые картины. Вот он дерется, и челюсти его при этом крепко сжимаются, а вот он натягивает свою цепь, и Мак-Криди и его госпожа уже готовы достать до него руками. Он чувствует вновь легкое прикосновение к себе руки молодой женщины и слышит ее удивительно сладкий для него голос, когда она поет для него и для его хозяина, и все его тело дрожит и волнуется от знакомого трепета. А затем картина вдруг меняется. Он бежит во главе великолепной запряжки в шесть собак, принадлежащей королевской северо-западной горной полиции, и его хозяин называет его кличкой Педро! Сцена меняется. Вот они уже на привале. Его хозяин молод и без бороды. Он стаскивает с саней другого человека, у которого руки закованы спереди в какие-то странные черные железные кольца. Немного позже он, пес, лежит уже перед большим костром. Его хозяин сидит против него, спиной к палатке, и смотрит на него. Вот из палатки выходит человек с железными кольцами на руках, только теперь его руки уже свободны, вовсе без колец, и в одной из них он держит тяжелую дубину. Пес слышит ужасный удар дубиной прямо по голове его хозяина – и этот звук пробуждает его от беспокойной дремоты.

Пес вскакивает на ноги, спина его ошетилилась, рычание заклокотало у него в горле. Огонь в костре уже погас, и весь лагерь погрузился в еще больший мрак, как это всегда бывает перед рассветом. Сквозь этот мрак Казан видит Мак-Криди. Он уже подкрался к палатке его хозяйки, и собака узнает в нем того самого человека, который бил его затем плетью и дубиной долгие дни, следовавшие за убийством его хозяина. Мак-Криди услышал угрозу в его рычании и быстро отскочил обратно к костру. Насвистывая, он стал складывать вместе полуобгорелые поленья и, когда огонь вспыхнул снова, он крикнул, чтобы разбудить Торпа и Изабеллу. Через две-три минуты, отдернув полу палатки, показался Торп, за ним следовала его жена. Ее распущенные волосы золотыми кольцами падали ей на плечи. Она села на сани, около Казана, и стала их расчесывать. Мак-Криди подошел к ней сзади и стал рыться в свертках, лежавших на санях. Как бы случайно одна из его рук зарылась на минуту в ее богатые локоны, спускавшиеся по спине. Она не почувствовала ласки от прикосновения его пальцев, а сам Торп сидел к нему задом. Только один Казан заметил это воровское движение руки Мак-Криди, любовное перебирание пальцами ее волос и безумную страсть, вдруг вспыхнувшую в глазах у этого человека. Быстрее, чем рысь, собака рванулась на всю длину своей цепи прямо к саням. Мак-Криди успел вовремя отскочить назад, и, как только

Казан дотянул цепь до конца, его отбросило назад с такой силой, что всем своим телом он по инерции шарахнулся на молодую женщину. Торп тотчас же схватился за цепь. Ему показалось, что Казан бросился на Изабеллу, и в ужасе, даже не вскрикнув и не произнеся ни одного слова, он поднял ее с того места, куда она свалилась с саней. Он увидел, что она не пострадала, и хватился своего револьвера. Но револьвер остался в кобуре в палатке. Как раз под ногами у Торпа валялась плеть Мак-Криди, и в минутной вспышке гнева он схватил ее и бросился на Казана. Собака завертелась на снегу. Она не сделала ровно никакого движения, чтобы убежать или напасть со своей стороны. Казан вспомнил, что только однажды в жизни он испытал точно такой же ужасный удар, каким наградил его сейчас Торп. Но и тогда он не издал ни визга, ни ворчания.

А затем его госпожа неожиданно подскочила к Торпу и вырвала у него из руки плеть, уже во второй раз завизжавшую в воздухе над головой собаки.

– Не смей больше бить! – крикнула она, и что-то в ее голосе действительно удержало его от удара.

Мак-Криди не слышал, что она при этом добавила, но Торп вдруг как-то странно посмотрел на него и, не сказав ни слова, последовал за своей женой в палатку.

– Казан бросился вовсе не на меня, – зашептала она ему в крайнем возбуждении. Ее лицо смертельно побледнело. – Этот человек был сзади меня, – продолжала она, хватая мужа за руки. – Он стал трогать меня, и Казан бросился на него в мою защиту. Он вовсе не хотел кусать меня. Он бросился именно на него. Нехорошо, нехорошо!..

Она чуть не рыдала, и Торп притянул ее поближе к себе.

– Я и не воображал этого, – ответил он. – Но как все это странно! Ты помнишь, как Мак-Криди сказал, что эта собака ему уже знакома? Может быть, Казан раньше принадлежал ему и до сих пор не может простить ему нанесенных обид. Завтра я все это выясню. Но пока я всего не разужнаю, обещаешь ли ты мне, что будешь держаться от Казана в стороне?

Изабелла обещала. Когда они снова вышли из палатки, Казан поднял свою большую голову. Удар плети пришелся ему как раз по глазу, и изо рта сочилась кровь. Изабелла вздохнула, но не подошла к нему. Полуслепой, он знал, что именно она, его госпожа, приостановила его наказание, тихо заскулил и стал стучать своим сильным хвостом по снегу.

Никогда еще он не чувствовал себя таким жалким, как в следовавшие затем долгие, мучительные часы дня, когда он побежал во главе упряжи на север. Один глаз его закрылся совсем и пылал, как в огне, и на теле ощущалась боль от следовавших затем ударов плетью из оленьей кожи. Но его угнетали не физические мучения, от которых так тупо чувствовала себя голова и так ныло все тело от необходимости бежать как можно скорее – такова уж доля передовой собаки. Он страдал духом. В первый раз в жизни его сломили. Мак-Криди бил его, но когда-то давно; хозяин тоже сегодня побил его; и в течение всего этого дня их голоса звучали в его ушах как-то строго и мстительно. Но больше всего его обидела его госпожа. Она отдалилась от него и стала держаться настороже; а когда они останавливались для отдыха и располагались снова лагерем, она смотрела на него странными, удивленными глазами и не заговаривала с ним. Значит, и она тоже будет его бить. Он верил в это и уже сам стал сторониться ее и растягивался на животе прямо на снегу. Для него разбитый дух значил то же, что и разбитое сердце. В эту ночь он скорбел один. И никто не знал, что он действительно скорбел, – даже сама молодая женщина. Она не приближалась к нему. Она не заговаривала с ним. Но она зорко следила за ним и изучала каждое его движение, всякий раз как он поглядывал на Мак-Криди.

Позже, когда Торп и его жена отправились на ночь к себе в палатку, пошел снег, и действие, которое этот снег производил на Мак-Криди, удивило Казана. Мак-Криди как-то забеспокоился, стал часто отпивать из фляжки, из которой пил и вчера. При свете костра лицо его становилось все краснее и краснее, и теперь Казан мог уже ясно видеть, как странно

стали сверкать его зубы всякий раз, как он поглядывал на палатку, в которой спала Изабелла. Все чаще и чаще Мак-Криди стал подходить к ней и прислушиваться. Два раза он услышал, как там внутри задвигались. В самую последнюю минуту раздался храп Торпа. Мак-Криди поспешил обратно к костру и поднял голову к небу. Снег все еще шел густой массой, и когда он опустил голову, то все его лицо было белое и не было видно от снега глаз. Затем он отошел в темноту и стал вглядываться в след, который они оставили на снегу только несколько часов тому назад. Он почти весь целиком был занесен снегом. Еще час – и от следа не останется и помину, и никто из тех людей, которые завтра поедут этой же дорогой, и не догадается, что они здесь ночевали. К утру будет завалено снегом уже все – даже костер, если он догадается потушить его заранее. Мак-Криди тут же, в темноте, отпил из фляжки еще раз. Слова дикой радости вдруг слетели у него с уст. Голова его разгорячилась от алкоголя. Сердце бешено билось, но все-таки не так сильно, как у Казана, когда пес вдруг увидел, что Мак-Криди возвращается обратно уже с дубиной в руке! Дубину он приставил к дереву. Затем взял с саней фонарь и зажег его. Держа в руке фонарь, он приблизился к палатке Торпа.

– Эй, Торп! – воскликнул он. – Торп!..

Ответа не последовало. Он слышал, как Торп глубоко дышал. Приподняв полу палатки, Мак-Криди крикнул громче:

– Торп!

И все-таки внутри не последовало никакого движения. Тогда он развязал веревочки и в образовавшееся отверстие просунул фонарь. Свет отразился на золотых волосах Изабеллы, прижавшейся к плечу мужа, и Мак-Криди смотрел на нее, и глаза у него горели, как уголья, пока наконец не пробудился Торп. Тотчас же он схватился за угол полы палатки и захлопал им в воздухе снаружи.

– Эй, Торп! – снова закричал он. – Проснитесь!

Тогда Торп ответил:

– Это вы, Мак-Криди? В чем дело?

Мак-Криди опустил край палатки и тихо заговорил:

– Да, это я. Не можете ли вы выйти ко мне на минуту? Кто-то ходит в лесу. Только не будите вашу жену!

Он отошел назад и стал ожидать. Через минуту Торп быстрыми шагами вышел из палатки. Мак-Криди указал ему на густой ельник.

– Клянусь вам, что вокруг нашего лагеря кто-то ходит, – сказал он. – Несколько минут тому назад, когда я ходил за дровами, я видел какого-то человека. Уверяю вас. Время самое подходящее, чтобы украсть у нас собак. Вот смотрите! Светите сюда! Если я не сплошной дурак, то мы увидим сейчас на снегу следы.

Он передал Торпу фонарь и взял с собою тяжелую дубину. Казан заворчал, но тотчас же и смолк. Он хотел было продолжать ворчать и далее, чтобы предостеречь Торпа и броситься к нему, насколько позволяла его цепь, но понял, что, когда они возвратятся, то будут его бить. Поэтому он продолжал лежать спокойно, дрожа всем телом, и только потихоньку скулил. Он следил за ними, пока они не скрылись из виду совсем, а затем стал ожидать и прислушиваться. Наконец он услышал хруст снега под ногами. Он не удивился тому, что Мак-Криди возвращался назад один. Он ожидал, что он возвратится один. Ибо он знал, что должна была означать его дубина!

Лицо Мак-Криди было теперь ужасно. Точно у зверя. Он шел без шапки. Он засмеялся низким, ужасным смехом, и Казан спрятался еще глубже в тень, так как в руках у него все еще была дубина. Затем он бросил ее и подошел к палатке. Отдернув занавеску, он заглянул в нее. Жена Торпа все еще спала; тихонько, как кошка, он вошел в палатку и повесил фонарь на гвоздь, вбитый в среднюю подпорку. Его движения не разбудили ее, и он простоял около нее несколько времени и все смотрел на нее и смотрел.

А на дворе, забившись в глубокую тень, Казан старался объяснить себе значение всех этих странных происшествий. Зачем его хозяин и Мак-Криди уходили в лес? Почему его хозяин не возвратился? Ведь эта палатка принадлежала его хозяину, а не Мак-Криди! Почему же туда вошел именно Мак-Криди? Он не спускал с палатки глаз с тех пор, как Мак-Криди туда вошел, и вдруг вскочил на ноги, ошетирил затылок и напряг все члены. Он увидел на полотне громадную тень Мак-Криди и вслед за тем услышал странный, пронзительный крик. В диком ужасе, который чулся в этом крике, Казан узнал именно ее голос и рванулся к палатке. Цепь остановила его и так сдавила ему ошейником горло, что он чуть не задохнулся. Затем он увидел по теням, что там уже происходила борьба, и наконец послышались ее крики. Она звала его хозяина и вместе с тем кричала и ему:

– Казан! Казан!

Он бросился к ней опять, но снова был отброшен цепью назад. Во второй и в третий раз он рванулся на всю длину своей привязи, и ошейник врезался ему в шею, как острый нож. Он остановился на секунду и перевел дыхание. Тени все еще боролись. Теперь уже оба они были на ногах. Вот уже они крепко между собою сцепились! С диким рычанием Казан еще раз рванул цепь всею тяжестью своего тела. Раздался треск, замок в цепи лопнул, и цепь дала ему свободу.

В пять-шесть прыжков Казан был уже около палатки и вскочил в нее. Зарывав, он схватил Мак-Криди прямо за горло. Первая же хватка его могучих челюстей была уже смертельна, но он этого не знал. Он знал только одно, что его госпожа была здесь и что он должен был ее защищать. Последовал сдавленный, прерывистый крик, который закончился тяжким вздохом: его издал Мак-Криди. Человек опустился на колени, затем повалился на спину, и Казан еще глубже запустил свои клыки в горло своему врагу: он почуял запах теплой крови.

Теперь уж на собаку кричала и сама ее госпожа. Она оттаскивала Казана назад за его лохматую шею. Но Казан не разжимал челюстей еще долгое время. И когда наконец он их разжал, его хозяйка посмотрела на мужчину и закрыла себе лицо руками. Затем упала на постель. Долго не двигалась. Руки и лицо у нее были холодны, а Казан ласково их облизывал. Глаза у нее оставались закрытыми. Он близко прижался к ней и все еще продолжал оскаливать зубы на покойника. Но почему же она не двигалась, удивлялся он.

Прошло долгое время, прежде чем она шевельнулась. Глаза у нее открылись. Ее рука коснулась его.

А затем он услышал раздавшиеся снаружи шаги.

Это был его хозяин, и с прежней дрожью от страха перед дубиной Казан бросился к выходу из палатки. Да, это был его хозяин, костер осветил его, и в его руке Казан увидел дубину. Он шел медленно, чуть не падая на каждом шагу, и все лицо у него было в крови. Но все-таки в руке у него была дубина! Он опять начнет колотить ею собаку и сильно изобьет ее за то, что она покончила с Мак-Криди; и Казан тихонько прополз под полою палатки и убежал в тень. Из своей засады под ветвями ели он смотрел на палатку, и низкий вой любви и в то же время и горя вырвался вдруг из его горла и быстро замер. Теперь уж они будут его бить всегда и именно за это. Даже она будет его бить. Они будут гнать его от себя и отколотят его тотчас же, как только его найдут.

И он повернул свою волчью голову от огня к глубине леса. Там не было для него ни дубин, ни визга плетей. Там они не найдут его никогда.

Некоторое время он колебался. А затем так же тихонько, как и те дикие звери, от которых он происходил, он выскочил из своей засады и утонул во мраке ночи.

Глава IV

Свобода от рабства

Верхушки сосен шумели от набегавшего на них ветра, когда Казан окунулся в таинственную темноту леса. Целые часы он все-таки пролежал невдалеке от места стоянки, уставившись красными, сверкавшими глазами в палатку, в которой еще так недавно произошло такое ужасное событие.

Теперь он знал, что такое смерть. Он мог бы объяснить это даже лучше, чем человек. Он мог обонять ее в воздухе и чуял, что смерть витала вокруг него и что именно он был ее причиной. Он лежал на глубоком снегу прямо на животе и дрожал, и три четверти его, составлявшие в нем собаку, скулили от невыносимого горя, тогда как одна четверть, бывшая в нем от волка, заставляла его с угрозой оскалывать зубы и зажигала его глаза пламенем мести.

Три раза его хозяин выходил из палатки и громко его звал:

– Казан! Казан! Казан!

Три раза и молодая женщина выходила вместе с ним. При свете костра Казан мог видеть ее светлые волосы, развевавшиеся вокруг нее, как и в то время, когда он только что вбежал в палатку и загрыз человека. В глазах ее все еще светился ужас и лицо было бледно, как снег. И во второй, и в третий раз она тоже кричала:

– Казан! Казан! Казан!

И вся та часть его, которая составляла в нем собаку, а не волка, дрожала от радости при звуке ее голоса, и он даже был готов подползти к ней, чтобы его избили. Но страх перед дубиной все-таки оказался сильнее, и он час за часом отползал все дальше и дальше назад, пока наконец в палатке не водворилось молчание и не перестали двигаться тени и пока самый огонь в костре не погас.

Осторожно он вышел из своей засады и, все еще на животе, пополз к нагруженным саням и к тому, что осталось от погасшего костра. За санями в тени от деревьев лежал труп человека, которого он загрыз, покрытый войлоком. Торп, его хозяин, оттащил покойника сюда.

Казан лег носом к горячим угольям и, вытянув морду между передними лапами, уставился глазами прямо на вход в палатку. Он решил бодрствовать, наблюдать и быть готовым тотчас же бежать в лес, как только в ней возникнет хоть какое-нибудь движение. Но тепло, исходившее от серой золы в уже потухшем костре, смыкало ему глаза. Два или три раза он боролся с собой, как бы не заснуть; но под конец его полуоткрытые глаза все-таки не справились с дремотой и плотно закрылись.

Теперь, во сне, он тихонько заскулил, и его развитые мускулы на ногах и плечах напряглись, и внезапная дрожь пробежала по его лохматой спине. Если бы находившийся в это время в палатке Торп мог видеть его, то он понял бы, что Казан видел сон. А жена Торпа, золотая головка которой лежала на груди у мужа и которая не могла успокоиться даже и теперь и то и дело вздрагивала, как это делал и Казан, могла бы сразу догадаться, что именно он видел во сне.

А во сне он снова метался на своей цепи. Его челюсти стучали, точно стальные кастаньеты, и именно этот звук и разбудил его. Он вскочил на ноги, ошетилил спину, и его обнаженные клыки засветились, точно ножи из слоновой кости. И он пробудился как раз вовремя. В палатке началось движение. Проснулся его хозяин, и если он сейчас не убежит, то...

Он тотчас же забился в самую гущу еловых ветвей и, скрытый от взоров, стал выжидать там, прижавшись к земле и высунув из-под дерева одну только голову. Он знал, что хозяин не пощадит его. Торп уже раз побил его за то, что он бросился на Мак-Криди, и только

вмешательство молодой женщины спасло его от дальнейшего наказания. А теперь он, Казан, перегрыз этому Мак-Криди горло. Он лишил его жизни, и хозяин не простит ему этого ни за что. Даже сама женщина теперь уже не заступится за него.

Казану было досадно, что возвратился его хозяин, такой жалкий и весь в крови, после того, как он перегрыз горло Мак-Криди. Иначе бы Казан остался при этой женщине навсегда. Она любила бы его. Она ведь и так любила его. И он всюду следовал бы за ней, защищал бы ее всегда, и если бы понадобилось, то отдал бы за нее жизнь. Но Торп возвратился из лесу, и теперь Казану нужно как можно скорее спасти свою шкуру, потому что Торп приготовит для него то же, что и остальные люди в подобных случаях, то есть дубину, плеть и ту странную вещь, которая изрыгает огонь и убивает. И теперь...

Торп вышел из палатки. Занималась заря, и в руке у него было ружье. Через минуту вышла и женщина, и ее удивительные волосы все еще развевались вокруг нее; она взяла мужа за руку. Он посмотрел на тело, покрытое войлоком. Затем она что-то сказала Торпу, и он вдруг выпрямился и закинул голову назад.

– Казан! Казан! Казан! – стал он звать.

Дрожь пробежала по телу Казана. Значит, хозяин хотел его обмануть! Ведь в руке у него была вещь, которая убивает!

– Казан! Казан! Казан! – закричал он опять.

Казан осторожно попятился от дерева назад. Он знал, что для той холодной вещи, которую держал в руках Торп и которая влекла за собою смерть, расстояния не существовало. Но тем не менее он обернулся, тихо поскулил, и в его красных глазах, когда он увидал в последний раз молодую женщину, засветилась настоящая скорбь.

Он знал, что теперь ему придется расстаться с нею навсегда, и в его сердце появилась боль, какой он не испытывал еще ни разу в жизни, боль не от дубины и не от плети, и не от холода и голода, но от чего-то гораздо большего, чем все это, вместе взятое, что вдруг наполнило всего его желанием задрать вверх голову и перед этим серым бездонным небом выплакать свое одиночество.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.